

Ольга
ПРИХОДЧЕНКО

ЛЕСТНИЦА ГРЕЗ



Одесситки

Ольга Иосифовна Приходченко Лестница грёз (Одесситки)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20613729

Лестница грёз (Одесситки)/ Приходченко О. И.: Человек; Москва; 2012

ISBN 978-5-904885-79-3

Аннотация

Героини «Лестницы грёз» знакомы читателям по первой книге Ольги Приходченко «Одесситки», рассказывающей о трудной судьбе женщин, переживших войну и послевоенное время. Проходят годы, подрастают дети... О том, как складывается их жизнь в Одессе, этом удивительном и по-своему уникальном городе, ярко повествует новая книга автора.

Содержание

Комната в углу в конце коридора	6
Пир на Весь мир	6
От судьбы не уйти	47
Дымоход старой печки	73
Сын героя	114
Древо жизни	121
Лестница грез	132
Конец ознакомительного фрагмента.	145

Ольга Приходченко

Лестница грез (Одесситки)

Внучке Анне посвящаю



Ещё раз здравствуйте, уважаемые читатели!

Спасибо, что вы немного потратились и приобрели эту книгу. Смею предположить, не случайно, а потому, что прочли мою первую книгу «Одесситки». Эта – ее продолжение, и в ней прослеживаются судьбы моих героинь, замечательных женщин Одессы, бывшей южной столицы Российской Империи.

Сам владыка морей и океанов в уютном уголке самого синего в мире Чёрного моря с любовью выплеснул на берег ракушку, которая разогрелась на солнышке и раскрылась. А в ней оказалась белоснежная жемчужина, необыкновенной красоты город мечты, Одесса! Моя родная Одесса, мой го-

род-герой, к которому с моря ведёт «Лестница грёз»!

Ольга Приходченко

Комната в углу в конце коридора

Пир на Весь мир

Моя подружка Лилька Гуревич, похоже, влюбилась в моего дядю Лёню. При разнице-то в возрасте почти в двадцать лет. В моей голове это никак не укладывалось. Такой старый хрыч, не представляю, как он может вообще даже взрослым тёткам нравиться. Он всегда такой злющий и неприветливый, «ещё тот характерец, дальше некуда», как говорит его мама, моя бабка. Ей-то лучше его знать. Всё-таки служба в милиции накладывает отпечаток на людей, особенно таких красавчиков мужчин.

Девки в молодости ему прохода не давали, а теперь что им всем в нём нравится? Я, конечно, тут же выболтала всю его красочную подноготную. Ну, чтобы хоть немного охладить Лилькин девичий пыл. Так нет же, куда там, по-моему ещё больше подлила масла в огонь. Последний козырь даже не пожалела, обрисовала нравственный уровень своего родственничка. Рассказала, как, живя в коммунальной квартире с молодой, пусть даже деревенской, женой с грудным ребёночком, он захаживал к соседке-художнице. Она жила с матерью. Всё было бы покрыто тайной, кабы у художницы не стал проявляться талант молодого перспективного опе-

ра в виде кругленького животика впереди. Эти художницы – что молодая, что старая – не давали ему прохода, называя обыкновенное неприкрытое блудовство большой и чистой любовью. Но они недооценили Ленькину мамашу, то есть мою бабу. Наша бабу сразу приняла экстренные меры по сохранению семьи и в один момент прибрала своего нашкодившего сыночка под своё крылышко к нам на Коганку. Обменяла его такую прекрасную комнату в доме Гаевского, с двумя окнами, выходящими на Соборную площадь, на малюсенькую клетку с печным отоплением и со всеми удобствами во дворе, да ещё не просто на Коганке, а в самом «Бомонде». Хуже, чем у Горького «На дне». Ужасней ничего и представить при нормальных мозгах невозможно. Зато дамы художницы потерпели полное фиаско. Семью удалось сохранить.

Однако недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, как поётся в одесской песенке. Наш Ленчик взялся за ум и пошёл в вечернюю школу доучиваться. Видно, все науки полюбил так сильно, что дома почти не появлялся. Бабу устраивала ему засады в доме Гаевского. Пока они с его женой Гандзей караулили моего драгоценного дядю-ловеласа по очереди на углу Дерибасовской и Советской Армии, он благополучно проводил время рядом со своим рабочим местом, 8-м отделением милиции. Пристроился к продавщице из универмага, подцепив её за соседней партой. В общем, доучивался. А койко-место предоставила им уборщица из ма-

газина, очкастая Дорка.

И опять – сколько веревочке ни виться... В собственный день рождения, обманув жену, что у него дежурство, кто-то там заболел, он расцеловался со всеми и был таков. Служба на первом месте. Жене его Гандзе дома не сиделось; в новом крепдешиновом платье, чтобы праздничный вечер не пропал зазря, решила с сыном прогуляться. И нарвался Лёничка на собственную жену с дитем, выгуливая в свой день рождения по городскому саду новую, благоухающую духами «Красная Москва» пассию. И запах модного одеколona шипра от мужа так ударил бедной Гандзе в нос, что она, бросив ревушего двухлетнего Олежку, вцепилась этой расфуфыренной работнице прилавка в патлы. Молодой опер ничего лучшего не придумал, как подхватил сына и мигом дал с ним дёру. Оставив на поле боя обеих своих дам. Те, не стесняясь, бились насмерть. Так бы и продолжали, тем более что обе прошли хорошую школу мужества во время войны, но подошедший наряд милиции увёз отчаянных соперниц в отделение, конечно, в 8-е, оно рядом. Продащицу признав в ней сразу свою, быстро отпустили. А Ленину жену долго успокаивали, пока не появился сам виновник торжества. И под личным конвоем, ночью, чтоб никто не видел, получая оплеухи, он плёлся, как побитая собака, домой.

Разбитый горшок, как ни склеивайте, новым не станет. Что только ни вытворяла бабка, как ни боролась за него жена – сражение было проиграно. Брошенную Гандзю с сыном то-

гда Федюнчик из «Бомонда», из того, что на горьковское дно похож, спас. Говорят, она крушила всё подряд, а Федюнчик её со своей Лизкой связали и холодной водой обливали. Побегали за дедом, но тот, как всегда, был на вахте, на своей барже в Ильичевском порту. Маме моей (старшей Лениной сестре) успокоить рассвирепевшую Гандзю тоже не удалось.

Мы с Алкой, конечно, не спали, как тут уснёшь. Олежка ревел на весь двор, мама с бабушкой пошли за ним, а потом, уже под утро, сели пить чай на кухне и шептались, но мы всё слышали. Бабка корила себя: знала же, что этим весь Ленькин скоропалительный брак закончится. Сколько умоляла сыночка дорогого, причитала она, как-нибудь, по-хорошему расстанься с девушкой. Он ни за что: я слово дал жениться. Бил себя в грудь: мама, её и так судьба обидела. Пойми меня: не могу её бросить, она столько натерпелась за войну. Их, девчонок, гнали как скот, хуже скота, пешком в Германию босиком. Ноги у неё нарывали, идти дальше не могла, так её какому-то лояльному немцам пану поляку, как рабыню, как скот, оставили. А остальных девчонок и её сестёр из деревни Ильинцы погнали дальше. У неё на спине такие рубцы от панских вожжей, в палец толщиной. Она на речке платье стесняется снять.

Ленька присел на кровать возле матери, положил ей руку на плечо, крепко прижал к себе, пристально уставился на нее, пытаясь найти сочувствие.

– В общем, мать, мы решили пожениться, – хриплым го-

лосом произнес он, – если вы с отцом не придете на свадьбу вместо вас десять солдат за стол посажу.

Тогда, когда женился на Гандзе, совесть не позволила её обидеть, так сейчас сполна досталось. И еще ему – на кровати у бабки сопел мой маленький двоюродный братик. В доме только и слышалось: не случилось с художницей, так подвернулась продавщица. Отбили бы от продавщицы, появилась бы следующая жертва. Красивый он у нас, Ленька, и добрый, бабы устоять не могут, сами на шею вешаются.

Кончилось тем, что сохранить молодую семью не удалось. Бабка плюнула, сдалась, махнул рукой и дед. Гандзя с малышом остались на их плечах, а по большому счёту – моей мамы. Она, по сути, тянута всю семью на своём горбу, круглые сутки пропадала в своей мясоконтрольной станции, света белого не видела, зарабатывая копейки. Мы с сестрой помочь ей ничем не могли: я – школьница, Алка – студентка. А ведь еще был довесочек, негаданное Ленчика наследство – маленькая дочь художницы. Ленька ее не признавал.

Сначала обесчещенная со своей мамашей пытались призвать нашего охочего до женщин шалуна к ответу, но барышня жила в коммуналке и, видно, до Ленчика у неё бывали кавалеры. Соседи, народ «доброжелательный, отзывчивый», охотно нарасказывали, что было и чего не было. Так что мечту выйти замуж за опера-гуляку они похоронили навсегда. Но сердобольная моя мама... Как ей было отказаться от новоиспеченной родственницы. Она увидела сходство в

крошке со своим любимым бра тиком Лёнкой и выделяла семье художниц пай – пару кило мяса, те регулярно, раз в неделю, нарисовывались за ними на маминой работе.

Может, и затянула я с этой душещипательной историей. Пусть Лилька Гуревич знает все, думала, это отрезвит мою подружку. Надежды были напрасны. Лилька заставила меня завернуть на чаёк к моему родственничку, теперь уже майору милиции Леониду Павловичу и его беспредельно гостеприимной жене Жанночке, той самой бывшей продавщице, того самого знаменитого в былые времена одесского универмага.

Жанночка радостно всплеснула ручками, стала приглашать к столу. Но я сдерживала ее пыл: не суетись, мы только на минуточку, в туалет приперло, на Дерибасовскую тащиться неохота, а больше нигде нет, до Фонтана «добро» не довезём. Из спальни вырулил Леонид Павлович собственной персоной, тоже попить чайку. Кончилось тем, что мы дружно впятером с их маленьким сынишкой Валерочкой прекрасно отобедали. Дядька с тёткой опрокину ли пару стопочек водки, нам тоже перепало по бокалу хорошего красного вина «Изабеллы». Леонид Павлович сразу взбодрился, делал нам комплименты, особенно Лильке. Рассказывал всякие небылицы, анекдоты, словом, был, что называется, в ударе. Зазывал в ванную похвастать своей фотоаппаратурой, её пошла посмотреть Лилька.

А у меня Жанночка выпытывала, как дела, как там Олеж-

ка, Гандзя смирилась или по-прежнему буянит. В общем, старалась прознать про все наши «тайны мадридского двора». Просила, чтобы хотя бы мы с мамой обязательно пришли к ним в гости на Лёничкин день рождения. Бабка не пойдет точно, она до сих пор была верна своему слову: Жанку как невестку не признавать. Лёнька, если и заезжал иногда навестить мать, то только один. Бабка давно от этого сама страдала, но железный характер не позволял ей изменить раз и навсегда принятое решение. Да и как это сделать? У нас дома могут быть, как назло, Олежка с Гандзей. Вдруг Ленка припрется с Жанночкой, тогда столкнутся две жены, одна брошенная официальная, а другая гражданская, и что – скандал, ругань? К черту.

Но пора уводить Лильку от греха подальше, а то еще потянет Ленку на свежачок. И так предостаточно подвигов. У подруги на лице выражение обиженной девочки, даже заикаться перестала. Морда ярко-пунцовая; как необъезженная кобылица, ржёт от каждой глупой и древней остроты моего родственничка. Жанночка, вроде бы ко всему давно привыкшая, несколько раз бросила осуждающий взгляд на мужа. Но старый мерин сдаваться не собирался, напросился проводить нас до остановки со своей собачкой, королевским пинчером Джимиком. Жанночка быстро раскусила маневр – факир был пьян, и фокус не удался. Она подхватила мусорное ведро, и мы все вместе дружно покинули гостеприимный дом. Они посадили нас в троллейбус на Пушкинской, и

мы покатили на свой Фонтан, который, вопреки песне, никогда не покрывался черёмухой, как поёт всю свою жизнь знаменитый Утёсов. Это растение только, по-моему, в этой песне и сохранилось, тем, наверное, и греет наши души. Мы с Лилькой, чуть-чуть подшофе, мурлыкали эту песенку себе под нос.

Если бы только знал мой дядька, старый ловелас, какое впечатление он произвёл на мою подругу! Она как будто бы помешалась. Несла, что сама признается ему в любви. Сама предложит себя в любом качестве, ей всё равно, будь что будет. Был бы это какой-нибудь чужой человек, я, может быть, и поприкалывалась над сумасбродными чувствами своей подруги. Но это мой родной дядька. Я-то хорошо его знаю, он через минуту, как нас проводил, даже думать забыл о какой-то молокососке Лильке. А подругу не остановить в её фантазиях. Все мои увещевания: и что у него этих любовей воз и маленькая тележка в придачу и что он ей совсем даже по возрасту не подходит, и что он только посмеётся над ней, были для Лильки пустым звуком. Всё бесполезно. Она до того обезумела, что обо всем, дурочка, растрезвонила собственной маме.

Я это поняла через несколько дней. Мы с Лилькой якобы смотрели телевизор, и как только мама её выходила на кухню, продолжали перепалку. Все это мне порядком надоело. Я уже и не рада была, что потащила ее к дядьке. Что она возомнила о себе? Он-то, старый бабник, даже представить себе

не мог, что его гостеприимство обернется таким скандалом. Рита Евсеевна, заносся нам поднос с чаем, чуть ли не заорала, что, мол, напрасно я считаю Леонида Павловича старым пердуном, ему ведь и сорока лет нет. Он мужчина в самом соку и вправе сам решать свою дальнейшую жизнь. Она лично как мать только приветствует чувства своей дочери.

Вот тебе раз, такого оборота я не ожидала. Ну, ладно, пусть Лилька, экзальтированная семнадцатилетняя барышня, с ума от нечего делать сходит, но выдавшая виды Рита Евсеевна? Нет чтобы остановить взбалмошное дитя, так она ещё решила её поддержать в этом позорном мероприятии. «Мой Кива, – укоряя меня своим взглядом, промолвила она, – тоже был меня старше, и что? Это прекрасно для брака, когда муж старше».

Так, всё с вами ясно, надо линять отсюда по-быстрому, пока дом не взорвался писклявыми визгами и воплями. Еще одну можно было вытерпеть, но двоих... Подсуропила я своему и так невезучему дядьке ещё один «цурез». Еле сдержалась, чтобы не сказать этим двум неряхам, что чистоплюя Лёньку вырвет, если он, не дай бог, попадёт в их комнату с ползающими тараканами и гнёздами клопов в электрических розетках, о пыли и запахах и говорить нечего. На дружбу с Лилькой надо хоть временно, но наложить вето. Пусть перебесится, потом посмотрим. Сама она к нему домой, надеюсь, ума хватит, не пойдёт и на работу не сунется. Хотя как знать. Вот характер настойчивый, вот так Лилька! Чтобы

я призналась маме или Алке в каких-то своих страданиях... Да ни в жизнь! Сколько бы насмешек поимела на свою голову. В нашем доме слово любовь начисто отсутствует. Любовью страдают одноклеточные, когда спариваются, так постоянно повторяет моя сестра. Лильку на всякий случай предупредила, чтобы у нас в доме она не вздумала свистеть о Лёньке. Иначе бабка её выбросит с балкона второго этажа. Бабку мою она побаивалась, и мое предупреждение возымело своё действие. Временно Лилька перестала к нам приходить, наверное, обиделась. Ничего, перебесилась, поумнела, теперь сама посмеивается. Но всё равно он продолжает ей нравиться. Меня не проведёшь. Сама уже чуть не влипла в подобное приключение. Не знаю, почему мне вдруг вспомнилась эта далёкая история. Но больше к своему родственничку своих подружек не таскаю.

30 сентября у Пелагеи Борисовны, моей дорогой и горячо обожаемой бабуленьки, день рождения. Это как раз приходится на «Веру Надежду Любовь и мать их Софью». И все, как один, пытаются, почему родители не назвали её одним из этих имён. Почему-то бабка всегда нервно реагирует, пожимает плечами: «На тот свет попадете – спросите их сами». После такого ответа никто об этом больше не заикается. Она у нас вообще любитель дать от ворот поворот.

Особо мы никогда бабушкин день рождения не празднуем. В лучшем случае придёт её племянник дядя Боря с женой, привезут какие-то фрукты со своего участка в Ко-

линдорово. Но Пелагея Борисовна ждёт Ленечку, сыночка единственного. Заранее, несколько дней, готовится: рыбку нафарширует, любимых котлеток своему сыночку нажарит и, конечно, икры баклажанной по своему рецепту, без каких-то новомодных наворотов. А то до чего додумались нынче «лэи» ленивые: вместо того чтобы синенькие с перцем запечь, как положено, чтобы от них дымком пахло, они их отваривают, да ещё в мясорубке прокрутят. А положено секачкой всё порубить, тогда и масло наверх в икре не поднимается. Вот и получается у лентяек не икра, а слякоть овощная какая-то. Если бы такую икру поставила она перед своим покойным мужем, то полетела бы эта икра вместе с миской на пол. Это в лучшем случае, а в худшем – может, и повыше, в лицо. Скор был покойник на расправу. До сих пор ощущаю боль в позвоночнике после его ударов (так он меня, ребенка, воспитывал за баловство), а ведь сколько лет минуло. Хорошо, что в день бабкиного праздника он часто нес вахту. Подменял сослуживцев: видите ли, у их жён дни рождения, а у твоей разве нет? Объяснял: «Поля, пойми, если оставлю их на судне, они всё равно выпьют, начудят чего, а мне отвечать. А так мне спокойнее. Мы с тобой в другой день отметим, ладно?»

Этот другой день в её жизни так и не наступал. Тихонько бабушка всплакнёт, и жизнь дальше покатится. Всё равно ничего изменить она не могла. Если и бегаёт где-то на сторону, то умеет скрывать. Ленька, паразит, в него уродился.

Дед ведь очень женщинам нравился, высокий, интересный, представительный. А после этой проклятой войны бабы как с ума все походили, окончательно «сказались», как говорят в Одессе, сами на шею мужикам вешаются. Стыдоба. Или судьба жестокая такая – у многих ведь мужья не вернулись, одним тяжело выкарабкиваться.

И сегодня напрасно она так готовилась, сыночек Ленька заскочил, но всего на пару минут, ему всегда некогда, когда он к ней заходит. Сунул пакетик с традиционным подарком, который приготовила ненавистная разлучница Жанка. Только её одну бабка винила, что сын от матери так отдалился. Даже прохладную водочку, настоящую на лимоне, не выпил и есть не стал. С дуру буркнул, что ещё нужно на 16-ю станцию Большого Фонтана заскочить по дороге, и вообще сегодня всю ночь придётся дежурить. Назавтра у него самого день рождения, пригласил бы мать к себе, бабушка ждала. Да какой там. Забыл или специально не захотел разбавлять компанию? Будут там веселиться все его друзья – родная мать может помешать. Ну и сволочь ты, дядюшка. Бабушка присела на кухне на табурет, машинально развернула свёрток с подарком сына. Могла и не разворачивать, и так знала наперёд, что в пакете. Каждый год один и тот же набор: темно синего цвета трико и пара простых чулок в резиночку. Бабка разрыдалась, уткнувшись лицом в сыновний подарок.

К вечеру объявились племянник с женой, они тоже спешили. Быстро перекусили и дальше в другие гости поеха-

ли. Только поздно вечером мы сами сели ужинать на кухне, поздравили бабушку каждый из нас подарил ей наши скромные подарочки. Алка купила ей новый платок на голову и халат байковый, мама – тёплые тапочки, а я флакончик духов «8-е марта» и новую грелку, старая уж сильно текла. О завтрашнем дне рождения Лёньки никто даже не заикался. Только мама поинтересовалась, когда я завтра выберусь к ней на работу. По предварительному тайному уговору скрывая от бабушки, что мы-то сами к Леньке, конечно, наведаемся, я стала канючить, что попозже, к концу работы, днем у меня какие-то дела. Мама также приврала, что сегодня к вечеру большой привоз был и, похоже, завтра придётся туши переваривать – возни невпроворот.

– Так, начинается, знаешь, мама, я с тобой до ночи сидеть не собираюсь, – разыгрывали мы с мамой перед бабушкой спектакль. Но она никак не прореагировала и ушла в спальню. Наверное, все-таки догадывалась, что мы ее обманываем.

– Мама, бабушка, думаю, поняла! Что делать?

– А ничего, это её дело. Сама не хочет с сыном общаться и с его новой женой, вот и получает. Ты, Олька, завтра прямо к Лёньке поезжай, а я попозже приду, как управлюсь.

На радостях я маму в щёчку чмокнула. Завтра я свободна как вольная птица. Целый день, по бабушкиному выражению, валяла валанду. Что это значит, не вдавалась в подробности. Так, догадывалась, что примерно то же, что валять дурака. Обложила книжками и журналами, на чем-то останавлива-

лась, если было интересно или фотографии красивые, другие просто перелистывала. Ворочалась с боку на бок на своём кресле-кровати, если сильно затекали руки и начинала ныть спина. Бабка молча терпела моё бездельничание, а потом взорвалась: «Так и лежать будешь, а к Аньке не собираешься? Она же тебя ждёт. У тебя совесть есть? Или ты её всю прогуляла?»

Самый момент рвать когти, иначе достанет до самых печёнок, да и на руку мне сейчас её окрик. А вообще почему-то вечно так: меня к стенке с контролем и вопросами, куда, чего, с кем и надолго ли? Подавай полный отчёт. А к сестре Алке никаких вопросов. Меня воспитывает, а её боится. Та утром понеслась, даже не ставит в известность. Произносит два слова: я пошла – и всё. Она пошла и с приветом, а мне приходится выкручиваться, постоянно что-то придумывать или откровенно врать.

Но сегодня заговор против бабки, тайны нашего двора. Если я сейчас попрусь из дома, где столько времени околачиваться? Может, пораньше к Лёньке зарулить, поздравить и слинять. Так, нужно успеть Рогатую поймать, ещё одну мою закадышную подругу Галю Рогачко и сговориться. Вдруг у неё какие-то планы, или она уже с кем-то договорилась. Она у меня девушка шустрая.

Десять минут – и марафет на морде готов, одно название, что марафет. Пару раз плюнуть в коробочку с ленинградской тушью и самой бледной помадой смазать губы. Больше ни-

какая косметика мне не требуется, да и, по правде, мне бы и не разрешили. Бабка только и тошнит, что мне больше идёт не пользоваться никакой краской. Все девчонки уже кремами мажутся, пудрой, даже новомодными дермаколами из-за прыщей, а у меня прыщи, благодаря стараниям бабки, вообще как таковые не водятся. Ещё пять минут – бросить что-нибудь на ходу из холодильника в топку-пузо, запить компотом и вперёд.

Нас ждут большие свершения; уже через полчаса я телепаюсь в трамвае в центр города, с Куликова поля обожаю пешочком пройтись по Пушкинской улице. В конце сентября и весь октябрь погода стоит прекрасная. Платаны ещё во всей красе: их мощные кроны, сплетаясь между собой, образуют живописный свод над мостовой. Они ещё не обнажаются, не падают листья, не сбрасывают стыдливо кору, как платья – девственницы. Какое странное дерево, вместо того чтобы защититься от холода и мороза, как другие, оно, наоборот, всё с себя скидывает, стоит всю зиму голенькое, и одесситы, конечно, в шутку называют их бесстыдницами. Вот только уж больно вороньё любит зимовать на них, о воробьях и говорить нечего. Уже все птицы прилетели с убранных подчистую полей и переселились в город. Зимой здесь теплее и сытнее для этой наглой и прожорливой оравы. Того и гляди пошлют привет с высоты прямо на голову, уже весь асфальт в их помёте.

Живущим на Пушкинской не позавидуешь, с утра и це-

лый день вороньё каркает, такой гвалт стоит; даже на Привозе торговки так не орут, как эти небесные создания. Но и в этом есть что-то своё с детства знакомое, родное, особенно когда у тебя хорошее настроение. Я гордо вышагиваю по Пушкинской, на мне новый костюмчик, на ногах английские лодочки на шпильке, полный отпад. Ловлю на себе взгляды прохожих: да, смотрите, любуйтесь – это я!

И куда я несусь на такой крейсерской скорости? Ведь ещё совсем рано. Мама придёт к шести, не раньше. Вот и улица Чичерина, пора сворачивать, пойду-ка я к Лёньке пораньше. Меня тянет ко второй дядькиной жене Жанночке. Она такая приятная, свойская, всё понимает. Жалеет меня, знает, как мне дома достаётся, хотя я никогда не плачусь. Нет, на меня никто руку не поднимает, упаси боже, у меня самой рука дай бог каждому – на тренировалась в волейболе. Так иногда бабка запустит в меня веник или перетянет кухонным полотенцем, мама похуже может приложиться, особенно тапком по морде, но я стараюсь перехватить её руку ещё в прицеле. Вообще я стараюсь не нарушать в нашей семье раз и навсегда заведенные порядки, но не всегда это от меня одной зависит. Разве я виновата, что так отвратительно ходит этот 18-й трамвай? Часто к одиннадцати часам вечера домой вернуться не получается. Здесь и складывается тяжёлая морально-политическая обстановка, и такое у меня ощущение, что во всём виновата я. В чём я перед ними виновата? Не нужно было меня рожать. А может быть, я просто ревную маму к

Алке.

Вот и квартира моего родного дядьки Лёни, по совместительству ещё и крёстного папы. Как только выпьет лишнего, так и вспоминает 1946 год, свои единственные галифе, которые я ему на тех крестинах подмочила, а он стоял не шелохнувшись перед попом и терпел, пока тёплая жидкость стекла по его рукам на гимнастёрку и ниже. А теперь посмотрите сюда, полюбуйтесь, что из этой засцыхи вымахало. А ну встань, когда взрослые к тебе обращаются! Все смеются, мне, конечно, неприятно, но и я теперь уже с юмором отношусь к его поведению. Видно, за этими событиями кроются в его воспоминаниях и более приятные вещи, только сказать он о них не может. Я лишь однажды уловила их перекрёстный взгляд с моей мамой, его сестричкой, как они ухмыльнулись. А потом у обоих было долго приподнятое настроение. Вычислить, кто виновница этих воспоминаний, для меня теперь вовсе не сложно. На училась сопоставлять факты. Это, по всей видимости, моя крёстная тётя Эмма, которая до сих пор сохнет по моему дядьке. Подслушала я как-то ругань между бабкой и сыночком. Вечные её заморочки, связанные с религией:

– Не получилось у вас ничего, потому что божьи заповеди не признаёте. Как ты мог с Эмкой пойти крестить Ольку? Священник что вам сказал? Не слушал? Вот и тащишь свой крест, и жизнь твоя кубарем катится.

С тех пор ни тётя Эмма к нам домой не приходит, ни Лёнь-

ка её к себе не приглашает, хотя она и давно замужем, да и Лёнька не свободен. Пора заканчивать «Размышления у парадного подъезда», уже пришла.

Дверь в дядькину квартиру открыта, правда, не совсем, на цепочке. Оттуда слышатся голоса, и запахи убивают наповал. Пахнет всем сразу – и сдобой, и жареным мясом, ещё чем-то. Всё смешалось в одну сплошную вкуснятину. Из-за гвалта мой звонок не слышат, один Джимик, королевский пинчер, заливается, то просовывая свою мордочку в щёлочку двери, втягивая мокрым носиком воздух, аж присвистывая, то несясь по коридору к хозяйке на кухню: кто-то пожаловал в гости, а вы не открываете. Наконец дверь распахивается, радостный Джимик бросается ко мне, сейчас порвёт мои нейлоновые чулки, которые я впервые в этом сезоне напялила в честь именин. Чмок в щёчку и просьба выгулять несчастную собаку, а то она с утра ещё не гуляла, не до нее сейчас. Джимик, самый умный пёс всей улицы Ленина, как считают не только его хозяева, но и все жильцы их высокопоставленного милицейского дома, уже выскочил во двор, огласив округу своим радостным лаем: привет, я здесь!

И пошёл метить всю территорию подряд, не пропуская ни одного мало-мальского кустика или сорняка. По сравнению с его ростом они, наверное, кажутся ему великанами. Хоть и бегаёт в своём доме, но боится потеряться, меня всё время держит на виду. Подбежит к воротам и в упор смотрит на меня: разрешу ли на улицу выскочить?

Я разворачиваюсь в противоположную сторону, он нехотя чешет за мной, за тем обгоняет, устремляясь к другим воротам, может, там повезёт. Стоит перед ними, трусится от напряжения, а вдруг?.. Я не реагирую, мне уже на доело бесцельно общаться с этим проказником, он понимает, что пустой номер, с улицей ничего не выйдет, и бежит обратно в парадную, от злости поднимая задние лапки по очереди на каждой ступеньке. На моё замечание: «Джимик, ай-я-яй! И тебе не стыдно?» отвечает вызывающе, задирает лапу на втором этаже и дает мощную струю на перила. Я не выдерживаю: «Паразит, где в тебе умещается столько?»

Но и этого королевскому отпрыску показалось мало: сбегал на этаж выше и там еще всё обработал. Похоже, он мне отомстил: не хотела меня как следует прогулять, так поучайте, я покажу, на что способен. Крик соседки на всю парадную: ах ты паразит, куда только смотрят твои хозяева? Вот я тебе за дам сейчас, засранец! И наш, действительно засранец, с визгом кубарем скатился по лестнице и опрометью забежал в квартиру дрожа и оглядываясь, как нашкодивший ребёнок.

Меня здесь же взяли в оборот. Пришлось поменять мой новенький костюмчик на старый Жанночкин халатик. За компанию сняла от греха подальше и чулочки, не ровён час любвеобильный Джимик мне их уделает. Жанночка предупредила, чтобы и туфли я без присмотра не оставляла, а то погрызёт подлец или помочится. «Такой шкодливый, спасу

нет. Лёничка его обожает, спит с ним на одной подушке. А этот гад, когда хочет пукнуть, разворачивается в мою сторону, пускает такой вонючий дух – хоть убегай. Вы себе такое представляете?»

Возмущению двух подружек, помогающих хозяйке на кухне, нет предела. Все они подружились семьями ещё когда жили на спуске Короленко. Так сказать, дружба, скреплённая трудными голодными послевоенными временами. Простые работницы, и мужья их тоже из рабочих, но закалённые нелегким детством и умеющие ценить добрые отношения. И сейчас, за много лет холода и голода, они исполняют свои многострадальные мечты: к разным праздникам много готовят блюд, накрывают сумасшедшие столы, соревнования устраивают между собой: у кого обильнее, разнообразнее и вкуснее. И пусть на стол уйдёт вся их зарплата, они могут наконец позволить себе такое пиршество.

А то, что Жанночка уже два года носит одну и ту же юбку из отреза, выданного мужу для пошива форменных брюк, это сущие пустяки. Главная мечта жизни осуществляется здесь и сейчас. Они ещё молоды, почти здоровы, у них есть семьи и собственная крыша над головой, и пришло их время веселиться, радоваться всему вокруг на всю катушку. Вот почему я люблю приходить в дом Жанночки и Лёньки, их радостное возбуждение предстоящего праздника передаётся и мне. Я сижу в уголке, снимаю шкурку с отварного картофеля, нарезаю его кубиками для винегрета и салата «оливье».

А у самой ушки на макушке, мне очень интересно слушать их разговоры. Они не обращают на меня никакого внимания, только иногда дают совет, как правильно держать нож, чтобы не порезаться, и кубики картофеля должны быть одинаковой величины.

– Жанночка, а как там Дорка твоя поживает? – интересуется тётя Надя.

– Сегодня пожалуйет собственной персоной, спросите, – отвечает Жанна, не отрываясь от плиты. – Ой, девочки, я вам такое расскажу Нашу Дорку вызывали в военкомат. Она к Лёничке постеснялась обратиться, звонит мне, вся в слезах, причитает, что это по Вовчика душу. У сына её же белый билет. Сообразила взять с собой его медицинскую карточку из поликлиники, а самого Вовчика не таскать туда, вообще ничего ему не говорить. Мало ли чего – загребут, а потом вытащи. Хотя, по мне, армия бы не помешала, вправили бы там этому поганцу мозги на место. А то воображения больше, чем соображения. Он же Дорку ни во что не ставит. После всего, как он ей достался. Мучается она с ним.

Женщины помолчали, повздыхали, переваривая только что услышанное. Чувствовалось, история рождения Вовчика, непростая судьба и жизнь Дорки им небезразлична, не приведи господь. Черт его знает, всякое могут пришить. Укрывательство сына от армии или, того хуже, раскопали, что она невестка белого морского офицера. Там же по мужниной линии ещё та семейка, Дорка знать не знала и духом

не чуяла, кто такие Ерёмину на самом деле. А они, оказывается, династией все служили при царе на флоте. И не то погибли, не то после революции за кордон уплыли. А её свекровь Нина Андреевна с сыном, Доркиным мужем Витькой, здесь остались.

– Но она-то здесь при чём? – прервала молчание тетя Надя.

– Я тоже так думаю, но Дорка вся в панике была, разное в башку лезет. Кто его знает, может, её муж Витька сбежал к немцам во время войны. Он же числился без вести пропавшим. Да и свекровь посадили после войны не за красивые глаза, десятку вlepили по 58-й. А здесь уже, выходит, и за Дорку взяли.

Жанна смолкла; попросив присмотреть за сковородкой, чтобы не пригорело, пошла в кладовку за перцем и луком. Подружки с нетерпением ждали ее возвращения:

– А дальше что, не тяни резину, что на самом деле произошло?

– Придет, расспросите. Я и сама все не знаю. Она перезвонила, только и сообщила, что Витьку её нашли в каком-то окопе под Одессой, взводом он, что ли, командовал, там и погиб. Опустили по ножичку перочинному, что ему Ар кашка и Иван, друзья дворовые, до войны подарили, на нем гравировка была. Ивана вы должны помнить, даже его раскопали.

– Как раскопали, он же живой вернулся, всё к Дорке тас-

кался, а после на Крайний Север завербовался? – испуганно выкрикнула тётя Надя.

– Я имею в виду – нашли, чтобы подтвердить тот самый ножичек. Аркашка же, их сосед по квартире, тоже погиб, почти в конце войны. Вот так всё сошлось. Да, еще Дорка сказала, что ей в военкомате Витькину медаль вручили, статью в газете напечатают, чтобы вся Одесса о нем узнала.

– Надо было Дорке сына с собой в военкомат взять. Ему бы приятно было. Отец не без вести пропавший, а героически погибший, – размешивая крем, мотала головой тётя Надя.

– Кто ж его знал, зачем её вызывали.

– Ну, а Вовчик теперь как?

– Как, как! С ножичком отцовским не расстанется. Он же отпетый биндюжник. Матерится ужас, в стилияги подался. От рук отбился, Дорке с ним не справиться. А что она может? Девчата, только если она придет, при ней ни звука. Ничего я вам не говорила. Захочет – сама вам расскажет, – умоляюще посмотрела на подруг Жанночка.

– А я бы на месте Вовчика послала этих сраных вояк к чертовой матери, ни за что не простила бы, – стукнула кулаком по столу тётя Надя. – Это ж надо, какие суки, двадцать лет не могли найти окопчик, какие-то дети наткнулись на него. Да они и не искали. Будто не знали, что мальчишек солдат бросили на верную гибель защищать Одессу, пока эвакуируют армию.

Они втроем еще долго обсуждали эту историю. Как Вовке

простить, если все эти годы на нем было клеймо сына пропавшего без вести, а то и еще хуже – дезертира. Ему ни копейки пенсии не платили за отца, как другим, и Дорка ничего не получала.

– Господи, а сколько эта несчастная пенсия, курам на смех! – ещё с большим остервенением тёрла несчастный крем тётя Надя.

– Так дело не в деньгах. Куда с таким пятном в биографии сунешься? В работяги и то не везде примут, – наконец подала голос до того молчавшая тётя Люда.

– Девки, скоро гости подвалят, а мы тут с вами заболтались, – спохватилась Жанночка. И начался обычный в таких случаях аврал. Еще раз подсчитывали количество гостей, поход за недостающими стульями к соседям, передвижка столов, потом сервировка. Посуды хватало выше крыши, недаром же Жанночка несколько лет отработала в посудном отделе. Не могла устоять, всю зарплату на тарелочки и рюмочки спускала.

Сервировку стола она никому не доверяла. Носилась как угорелая с кухни в комнату. Никто из нас не мог угадать, куда какое блюдо надо поставить, чтоб лучше смотрелось, Уже и воткнуть некуда, а она, как фокусник, раздвигает кушанья, и еще и еще новые яства умещаются на её хлебосольном столе. Вот это стол, настоящий праздник живота, души и тела. Ещё немного, и кишки сами будут из нас вылазить и

тянуться к этим, без всякого сомнения, кулинарным шедеврам. Пока Жанночка в очередной раз уносится на кухню, её подружки подмигивают мне, и мы потихоньку заглываем по жареному пирожку. Он тает у меня во рту моментально, и проклятый желудок начинает орать что есть мочи. Жанночка смотрит на меня удивлённо: «Это у тебя так урчит? Что ж ты молчишь? Идём на кухню, я холодцом угощу с хренком, подкрепись, а пока гости придут, ещё раз проголодаться успеешь». Я не отнекиваюсь, наворачиваю всё подряд из мисочек, то, что не поместилось в парадных блюдах. Да не одна я, вся наша компания из четырех поварих утоляет голод; со смехом и шутками женщины еще выпили по паре рюмочек водки, мне налили компот. Мне так хорошо было с ними. Я мечтала, что придёт время, у меня будет обязательно большая семья, придёт куча гостей, и я тоже много-много наготовлю вкусенького.

– Жанка, хватит таскать, ну куда ещё, на столе места уже нэма. Да не открывай ты эти шпроты, такая дунайская селёdochка, пальчики оближешь, и тюлечка, ты даже косточки все повинытаскивала. А то бы у них руки отсохли самим вытаскивать.

– От ты даёшь! Ты посмотри на неё, совсем сказала, ещё печень трески тянет. Уж лучше бы с отварным яичком, зелёным лучком приправила, так побольше бы было. Какое расточительство! – не унималась тётя Нина.

– А мне для вас ничего не жалко, гулять так гулять, – ли-

цо Жанночки расплылось в улыбке. – Здесь нас с Лёнечкой к генералу пригласили на званый ужин. Девки, так вы не поверите, ну точно как в басне. Этой – с лисой и журавлём. Всё малюсенькими бутербродиками, тонюсенько порезано, колбаска, сырок, правда, была буженина магазинная, ну прямо на один глоток. Все ж пришли с работы голодные, выпили, наинулись на ту закуску вмиг голые тарелки на столе. И самое главное – расхваливают хозяйку. А мне противно. Ну раз позвала людей, так прими, как следует. Два часа ждали гуся, запеченного в духовке. Так полусырым и давились. За то упились в усмерть. Жлекали коньяк заморский и всякие эти джины. Лёнька потом до утра рыгал.

– Ну и что генеральша?

– Та ей как с того сырого гуся вода. Сама поддала прилично и всё танцевала. Тыкала подчинённым хлопцам свои потные ручки с крашеными ногтями, чтобы целовали.

– И целовали?

– А как же, все как один, в очередь. А генерал? Так он в кабинете кемарил, сморился от непосильных трудов. И никакого стыда тебе, как будто так и надо. Когда уже уходить собрались, торт выставили заказной с кондитерской фабрики, шоколадный, здоровенный. На нем и отыгрались, весь уму ламурили, заодно с конфетами. Аж за ушами трещало, так молотили.

– Правильно, так и надо приглашать. За границей все так приглашают. Сначала выпивка без закуски, особо много так

не выпьешь. Потом бутылки убирают, и вот эти фитюльки бутербродики разносят. С подноса сколько возьмешь – ну один, два, больше неудобно. Все продумано, чтобы лишнего не сожрали. А у нас как засядут, из-за стола не вытащить, вино глушат и лопают, глотку обдирают – и какой интерес? А тут музыка, танцы, ручки целуют, будет потом что вспомнить... – Откуда у тёти Люды познания заграничного стола всплыли, ведь нигде, кроме Одессы и еще, кажется, Херсона с Николаевым, не была? Она сама себе ручку поцеловала и сделала реверанс. Забавно выглядело, все дружно расхохотались.

– Жанка, а ну тикай от плиты, иди наводи марафет чтоб не хуже генеральши была, – продолжала звонко голосить тетя Люда. – И ногтики давай я тебе накрашу наверху и внизу.

Так хорошо на душе было. Самый настоящий праздник – любви и самоотдачи от чистого сердца.

Вдруг из ванной вылетает Жанночка, без хала та, в одной руке бигуди, в другой расческа:

– Девчата, совсем забыла, нужно в казанчике пожарить из творога с чесноком шарики.

– Какие ещё шарики, у тебя самой шарики за ролики захали.

Раздался звонок, Джимик, как ни караулил дверь, а всё же пропустил самый ответственный в своей службе момент: не оповестил, что кто-то идет. Эх, Джимик, где твой нюх и особенный жизнерадостный лай? Собачка не виновата, от-

влекли ее эти подружки, трещат без умолку, ничего не поймёшь, то ли радуются, то ли ссорятся. Голова устала вертеться из стороны в сторону а надо ведь ещё бегать хвостиком за каждой индивидуально, сопровождать почётным караулом по всей квартире, не упустить момент, когда они переносят эти волшебные тарелки, издающие такие умопомрачительные запахи. Несчастный пёсик страдает, давясь слюнями. Вся борода замокрела, глаза слезятся, и никому до него дела нет Даже его личное имущество, пустую мисочку, и ту под табурет ногой зашвырнули за ненадобностью. Хоть бы кто-то обратил внимание на его собачьи переживания.

Наконец пришла спасительница. Уж кто-кто, а эта Фроська всегда приносит ему сладкую косточку, всю в мясе, так что есть где отвести душу. Но сегодня и Фроська к Джимику равнодушна. Только и выпалила вместо приветствия, чтобы не вертелся под ногами, не до тебя, еле дотянула целую кошелку бутылок. И сразу в ванную нырнула, дверь за собой плотно прихлопнула. Джимик всё равно и за дверью чувствует, как она эту гадость разливает в фирменные бутылки с красивыми этикетками, Жанка заранее заготовила. Для бедного Джимики это не впервой, если бы кто знал, как ненавидит он этот запах, самый отвратительный из всех на свете. Его хозяева, как выпьют эту гадость, потом во сне храпят на всю квартиру Тогда ему приходится менять дислокацию в постели и перебираться с подушки поближе к ногам хозяйина. Там тоже запашок не подарок, лучше всего устроиться

поверх одеяла.

Нет, всё же есть запахи и похуже. Тот же нафталин. Это когда Жанночка достаёт из шкафа зимние вещи и просушивает их ближе к холодам, перед морозами. Этот запах начинается ощущаться сначала в парадной, а потом и от всех прохожих на улице. А совсем уж смертельный дух, когда хозяйка морит тараканов, противных рыжих прусаков. Но для Джимика это праздник, собачья радость. Тогда все покидают родное жильё и едут в гости далеко на Фонтан. Пса, естественно, берут с собой, и там для него полное раздолье. Можно быть целыми днями на у лице, не воняют и не шумят эти мерзкие машины. Только пугают его злые собаки из-за всех заборов. Но малыш Джимик тоже им не уступает, заливаётся на полную катушку. Пусть знают его, городско-го и породистого, спящего на хозяйской кровати. Не то что эти дворняги – вся жизнь на цепях в конуре, только и знают что охранять дворы и сады. Барбосы беспородные, служаки. А меня хозяйева на руках носят, целуют, между прочим. Вот и сейчас пойду-ка я улягусь в спальню к себе на кровать, немного посплю, а то сморился что-то от этой суеты...

– Джим очка, а где моя любимая собачка? Ах, вот он мой родненький, тёпленький. А что я тебе принесла? – тётя Фрося гладила забившегося под подушку пинчера.

Вспомнила обо мне, опомнилась, не хочу с тобой общаться, так и знай. Джимик попытался отвернуть свою башку от её воняющей самогоном руки. Но тетя Фрося уже подхвати-

ли слабое тельце и прижала его клину пахнущему всем сразу – и пудрой, и помадой, и свежей краской для бровей, и ещё смесью одеколона с духами. От всей этой смеси Джимик расчихался, как астма тик. С трудом вырвался из цепких объятий, даже косточку выплюнул – она тоже пропиталась всеми этими ненавистными запахами. Кубарем, вверх тормашками Джимик скатился с кровати и даже, что редко с ним случается, зарычал на мучительницу.

– Ну, зараза неблагодарная, ещё кусаться удумал. Небось обожрался уже, так носом крутит, огрызается, – тётя Фрося почесала свою руку. – Засранец, больно прихватил.

В спальню дверь открылась, вошла Жанночка. Джимик бросился с лаем к хозяйке пожаловаться. Да не тут-то было.

– А ну пошёл отсюда! От шкодливый, ничего нельзя оставить даже на минуту. Всё платье моё вымял. Кто тебе в спальню дверь открыл? – возмущалась Жанночка.

Любимая хозяйка сегодня тоже его предала. Орёт на собачонку ни с того, ни с сего. И не гуляла с ним сегодня, нашла кому доверить такое серьёзное дело, как прогулка. Этой фифе противной. Он от ужаса глаза закрывает, когда его эта дылда высоченная поднимает своими руками с длиннющими когтями хищницы и за шкурку держит перед собой. Боятся запачкаться или брезгует. И пахнет от нее, как от хозяина, табаком. К хозяйскому табаку Джимик притерпелся, у того запах хоть и сильный, но душистый – все-таки не хухры-мухры, а «Золотое руно». А у этой фифы табачок так се-

бе, как у тех жлобов, которые каждый вечер во дворе козла забивают. Вонь сплошная. И вовсе она не гуляла со мной, а только под забором пряталась и сигаретой дымила. А я, дурачок, ждал. Думал, накурится и пройдемся по улице, на людей посмотрим и себя покажу а она сразу домой завернула. У неё, между прочим, тоже собака есть, но так себе, беспородная. Она передала мне свой привет на её туфельках, да и юбочке. И не только она, а ещё и отвратительный вонючий кот. Я уже знаком с их запашками, хозяин их хоть и редко, но приносит с собой. И ещё одна фифочка, сестричка той, у нас живёт, когда мои законные хозяева отдыхать выезжают. Никогда меня к себе в кровать не берёт. Закрывает наглухо все двери, и остаётся мне только на коврике в прихожей ютиться. А я не простачок какой-то, а королевский пинчер, не какие-то ваши химины куры.

Никому я здесь не нужен, только и слышу: иди на место, пошёл на место, я кому сказала! А как тут пойдёшь на место, когда все закрыто. Только смог прорваться, так опять заработал по шее. Вот возьму и выйду сам на улицу, пусть понервничают. Будут впредь знать, как ко мне, преданнейшему из преданных, королевскому из королевских, относиться. Джимик опять занял выжидательную позицию у щёлочки входной двери. Хозяйка специально, что ли, дразнит меня. У неё такая манера: если что где увидит или в гостях попробует, а то и вовсе прослышит в нескончаемых одесских очерках, то обязательно запишет рецепт в свои разбухшие от

них тетрадки и выдаст на праздничный стол как новенькое, необыкновенное. Другие женщины обычно так помешаны на нарядах, а наша Жанночка на своей кухне. И ведь ничего не скажешь, всё у неё получается, вкусно, красиво, с особым изыском, пальчики мои собачьи оближешь. Она никогда не экономит, всего горы – тортов, разной выпечки. Заставлены все окна, все шкафчики на кухне. В спальню на шкафы переехали вазы с фруктами, в ванной плавают херсонские арбузы в прохладной воде.

Забитый до отказа холодильник уже не отключается на перерыв, стонет и плачет, не в состоянии столько охладить продуктов в раскалённом помещении. Как назло и солнышко к вечеру разкочегарилось, и кухня, выходящая окном на запад, залилась праздничным сиянием. По одной расплавленные от жары и духоты да еще загнанные до изнеможения Жанкиным энтузиазмом потные помощницы стали выползать на спасительную лестничную клетку Жанночка одна осталась на боевом посту, но, наконец, и она сдалась: девочки, кажется, всё!

Все облегчённо вздохнули. Жанночку не осуждали, привыкли, такая их подруга от природы. Всех должна переплюнуть, костями ляжет, но никто с ней не сравнится. Теперь самое время и мне смотаться на улицу. За компанию прихватил и Джимику. Но он что-то заартачился, мокрой бородой неприятно потерся о мою голую ногу Видно, жрать хочет, и я тоже. Только глазами повела в сторону кухни, как коро-

левский пинчуря совсем не по-королевски туда рванул между моими ногами. На столе в кастрюльке лежали пирожки с мясом. Я быстро в ротик себе и собачонке за ткнула по пирожку, и мы, не сговариваясь, рванули на воздух. Мне очень хотелось смотаться со двора подальше, но в таком виде... В драных старых тряпичных тапках на босу ногу и в линялом хала тике на три размера больше, с дыркой на самой груди... Я его почти два раза обмотала вокруг своего тела, поэтому сквозь дыру не просвечиваются комбинация и лифчик, но всё равно, вид ещё тот: на море и обратно. Джимик от меня не отходил ни на шаг, только как жонглёр в цирке ловил кусочки пирожка. Я только командовала: танцуй-танцуй, зарабатывай, пучеглазый карлик, на кусок хлеба насущного трудом, как другие. Крутись, крутись.

Потом мы с Джимиком немного побегали по детской площадке, посидели на лавочке. Я взяла его на колени, положила на спинку и почесала нежное пузико. Вот умора, от избытка чувств он лежал как тряпка, раскинув лапки, и мордочка его улыбалась от счастья. Ну вот, признал наконец меня. Хорошего понемножку, пора домой. Не хочется? Ладно, ещё побегай! И этот самый умный их всех королевских пинчеров вошёл в раж, от радости, что оказался на свободе, без усталости носился по двору и громко лаял, на ходу окропляя всё вокруг. Напоследок закрутился волчком, поджав задние лапки к передним, примостился на краю песочницы, проехался задом по земле, отбрасывая её назад, как лошадка копы-

том, и... побежал впереди меня к парадной. Да так стремительно, что я еле успевала за ним в этих растоптанных старых тапках. На этот раз он вёл себя порядочно, не пакостил у дверей соседки с третьего этажа, а тихо юркнул в открытую дверь собственной квартиры. Помнит, подлец, как ему влетело за прошлую проказу. А говорят, что собаки ничего не понимают. Еще как понимают, даже такие, с малюсенькой головкой...

Так, прибыли первые гости. Это всем своим кодром прибыла Жанкина сестра Наташа, живущая за 16-й станцией Большого Фонтана. Вся семейка в полном составе: муж Иван, дочка Валька, на год младше меня, но успевшая после школы сразу замуж выскочить. Её муж Витя – деревенский паренёк из-под Киева, очень симпатичный и, по всей видимости, добряк. А это что?! У Вальки фигурка уже деформировалась вперёд животиком. Поцелуи с хозяйкой закончились, настала очередь переноски товара. Бутылки с помидорами, огурчиками, а самое главное – собственное домашнее вино и сок. Я обожаю все это ещё с тех пор, как однажды с мамой, тайно от бабки, были в гостях у тёти Наташи, Жанночкиной сестры. Наша бабка лежала тогда в больнице, и мы получили неожиданную свободу. Алка ехать отказалась, а зря, как классно у них было. Стол накрыли во дворе под навесом, рядом с летней кухней.

Это место на их участке было самым уютным. Побегви виноградных лоз ещё с молоденькими, полностью нераскрыв-

шимися листочками вились над зелёной верандой, местами прикрывая солнышко, и при малейшем ветерке ласково трепетали. Другие срывались с металлической верёвки и опускались прямо на заставленный стол. Я не сомневалась: без искусных рученок Жанночки не обошлось. Всё тот же ассортимент, вызывающий у меня единственное желание скорее начинать пробовать все подряд.

Гостями были в основном их соседи, жители колхоза Карла Либкнехта, которым командовал Герой Соцтруда Макар Посмитный. Фактически Одесса в сторону Фонтана и бывшей Люстдорфской дороги, а нынче Черноморской плавно переходила в угодыя этого хозяйства, известного на весь Союз. Здесь, недалеко от мужского монастыря, и получили тётя Наташа с мужем комнатку от колхоза, в небольшом домике на две семьи с огородиком. Вокруг простирались поля. Добираться нам в принципе было удобно. Сначала 18-м трамваем до 16-й станции Большого Фонтана, а потом 19-м. 19-й вообще был каким-то чудным. Я запомнила его ещё со второго класса, когда единственный раз в жизни попала в пионерский лагерь Портофлота. Вот там, мимо забора этого лагеря, почти вплотную к нему, проложены рельсы однопутейки, а сам трамвайчик ездит по кругу. Я, домашний ребёнок, попала первый раз в лагерь; он хоть и пионерским назывался, но в нём царили далеко не пионерские, а настоящие лагерные порядки. Их устанавливали детдомовские дети. Первым делом у меня забрали мыло, зубной порошок, щётку, и

все по очереди чистили этой щёткой свои зубы. А когда я пожаловалась вожатой, то мне устроили тёмную и хорошо отколотили, а потом демонстративно моей зубной щёткой почистили все девчонки свои сандалии и тапки.

Сколько слёз я пролила, стоя у этого забора в ожидании мамы. Мне казалось, что вот-вот следующий трамвай привезёт ее, она заберёт меня наконец домой и мне помогут голову. Здесь все девчонки коротко стрижены, моют голову прямо под краном с холодной водой. Свои косы я боялась даже распустить, чтобы их расчесать. Эти злющие девчонки, не говоря уже о мальчишках, не упускали любую возможность, чтобы подёргать меня за косы. Пионервожатая каждый мамин приезд обещала помочь мне помыть голову, а сама потом перед всеми высмеивала меня, как беспомощную белоручку. Все везде и всюду врут и воруют напропалую. И пионеры, хотя клятву давали, и взрослые комсомольцы.

Моя мама сдалась и забрала меня домой через две недели, когда уже вся голова кишела вшами и гнидами. Потом, уже взрослой, проезжая этим 19-м трамвайчиком, я впивалась глазами в окошко, чтобы увидеть сразу всю территорию лагеря. Наш деревянный корпус по-прежнему выкрашен в голубой цвет, и дети всё так же облепили забор, выставив головки между штакетником, в ожидании родителей. Теперь в этом лагере работает пионервожатой моя подружка Галка. Она всё детство в нём провела, он для неё стал родным. Странно, но ей там нравится. А на Фонтане у Жанкиной

сестры больше бывать в гостях не приходилось. Всё общение с моей сверстницей Вале́й и её родителями происходило в квартире моего дядьки и тётки. Обе мы были родными племянницами – я со стороны дядьки, а она со стороны тётки.

Всё это я поведала вам исключительно ради домашнего их собственного вина, которое они привезли в качестве подарка. Здесь же, на кухне, был открыт первый трёхлитровый бутылёк. Тёрпкий сказочный запах привёл всех присутствующих в приподнятое настроение. И что вы думаете? Разве можно было устоять против такого искушения. Вы тысячу раз правы. Нет! Нет! И ещё раз нет! Более того, в ход сразу пошли простые гранёные стаканы и чайные чашечки, стоящие в буфете. Тётя Наташа повторяла, что вино не крепкое, сахару не добавляли, просто чистый сок. Все в один голос подтвердили, что это действительно чистый сок, поэтому бутылёк оприходовали со скоростью звука и здесь же его ополоснули и отправили на антресоль, чтобы не мозолил глаза.

– Совсем без градусов, – заключила тётя Фрося, – це для дитёв.

Она всегда, когда выпьет, с ходу переходит на полуукраинский язык. Видно, этот натуральный сок пришёлся в самый раз уставшим женщинам. Раздался звон упавшей с окна тарелки с остатками холодца, к ней подорвал Джимик и моментально стал все слизывать с пола. Жанночка с визгом набросилась на любимца, что тот может пораниться. Схва-

тила веник и начала им подметать осколки. Тётя Фрося нагнулась подать Жанночке совок, и обе задами стукнулись. Жанночка не удержала равновесие и попыталась ухватиться за наклонившийся стол, тот не выдержал её приличного веса, и все стаканы и чашки дружно полетели на пол. Под истошный лай самого породистого. Жаль было Жанночку, она больно стукнулась лицом об угол стола и ушибла руку. Но больше всех досталось несчастной собаке. Все в один голос объявили его виновным. Тётя Наташа с её загадочной улыбкой поняла причину случившегося. Наши глаза встретились, её тонкое, по-настоящему красивое лицо, обычно уставшее от жизни, заиграло. «Ты, Оля, этим вином не увлекайся, оно обманчивое. С виду вроде и не пьянит, а по ногам хорошо бьет».

Я уже и без неё поняла это, почувствовала, меня немного повело. «Та прямо хороший сок! То, шо надо!» – вскрикнул тети Наташи зять, Витя, втаскивая с лестничной клетки в коридор ящик белого винограда «дамский пальчик». У меня с ходу слюнки потекли от этих прекрасных гроздьев, спелых и золотистых, как будто бы южное солнце передало винограду всё своё тепло, а вековая степь наполнила его сладостью.

– Ото после вина, о той ще виноград за компанию и як раз будет то, шо на до. Скопытиться можно только так! И мыть его на до сильно, а то отравой увесь залили. Это з таировского институту – не успокаивался Витя.

Виктор, Валькин муж, её ровесник, симпатичный высо-

кий парень польских кровей. Приехал в дом отдыха покупаться в море. И на танцах в пансионате на 16-й Фонтана познакомился с Валькой, пошёл её провожать. Пока они у калиточки провожались, их застукал Валькин папа, вероятно, тоже знаменитого сока попробовался и пристал к парню. «Женись, нечего тут ошиваться просто так». Вот и вся история. Валька в комнате сидит, квочку напоминает, высиживающую цыплят, обмахивается газетой, и всё ей по барабану. Смотрит на меня так, как будто бы ей одной известно что-то такое загадочное, неведомое никому. Она только спросила меня, как мои дела, я ответила односложно: хорошо. Её же спросить у меня не повернулся язык, неудобно как-то. И так всё ясно.

На кухне такой тарарам. Жанночка сидит с компрессом на лице. Несчастный Джимик заливается под дверь. Пришла ещё одна его любовь – тётя Дора. Ей очень подходит это имя, оно, наверное, производное от слова – дородный. Чего-чего, а дородности ей не занимать. Один бюст чего стоит. У всех Жанночкиных подруг с этим делом всё в полном порядке. Но сравниться с бюстом тёти Доры не может даже тётя Фрося со своими пистолетами, торчащими в разные стороны. У тёти Доры бюст начинается от самой шеи. В этом месте сходятся обе груди, напоминающие мячи или арбузы, приплюснутые бельём до самой талии. Носить на себе такую тяжесть не каждый выдержит, поэтому она тяжело дышит. Она сразу усаживается в большой комнате за стол, отодвигаясь от него

подальше, чтобы грудью не сбросить тарелки и бокалы. Когда она наклоняет голову с несколькими подбородками, то получается, что два нижних шара держат посреди верхний шар – голову. Все женщины по очереди заходят, здороваются с Дорочкой. Одну её они ласково называют Дорочкой. Дорочка постоянно протирает свои дурацкие очки. Они почему-то у неё всё время запотевают. Улыбается какой-то детской непосредственной улыбочкой; как по мне, так эта улыбочка на её лице ни к селу, ни к городу. Все опять умотали на кухню – неугомонные.

Тётя Дора, обращаясь к нам с Валькой, тихонько спрашивает:

– Когда это они успели так набраться? – Я, не моргнув глазом, предложила и ей составить компанию, попробовать домашнего вина или, по Витиному соку, пока суть да дело. Но Дорочка наотрез отказалась, попросила водички холодненькой, если можно. – Там без Фроськиного самогона не обошлось, – предположила она. – А что, Жаночка сильно разбилась?

– Нет, это из-за Джимика, – возразила Валька.

– Ну да, и тебя, Джимик, как меня, всегда по делу берут, – тетя Дора опустила руку, и Джимик по ней, как по горе, вмиг забрался на вершину, к самому её лицу и облизал его вместе с очками. Счастливая тётя Дора радостно взвизгивала, совсем как молоденькая девчонка. А этот паразит рад стараться и по её груди, плечу, затем по затылку прошелся, как

по горной тропе. – Ой, Джимик, отстань, не целуй меня, от тебя так шпротами воняет! – тетя Дора пыталась сбросить собачонку, которая уже сползла к ее шарам. —тьфу! Я кому сказала. Ты мне всю кофту обделаешь. У меня другой нету. Что ты с ним сделаешь?

– Счас сделаю, – не выдержала я и ухватила уцепившегося королевского за туловище. Чтобы припугнуть этого глистатого, ещё несколько раз подбросила и выпустила на пол, легонько поддав под зад. Другой бы сразу убежал, а этот нахал опять рванул к тётё Доре на руки, и она его прижала к груди. Ну, тогда терпите этого нахала. Тогда я не знала, что последний раз вижу тётю Дору. И буду только от Жанночки случайно, ненароком узнавать о её дальнейшей, просто ужасной судьбе.

От судьбы не уйти

Дорка сама не заметила, как постепенно развалилась вся, как ей казалось, дружная её компания. Сначала из магазина ушла директриса. Закончила свой институт и подалась на завод. Партия позаботилась и направила её на Одесский коньячный завод инженером, и здесь же её якобы выбрал народ партийным секретарём. В магазин назначили нового директора, русского по национальности в паспорте, а самого настоящего маланца по роже. Этот сорокалетний с порога взял власть в свои руки. И кроме швабры, с которой теперь Дорка боялась расстаться, никуда её не допускал. Вслед за директрисой уволилась и её подруга Надька, вместе со своей квартиранткой-племянницей. Новая метла всех начисто, что называется, вымела.

Из старых работниц только и осталась одна Дорка. На её место желающих пока не находилось. Она так же исправно торчала чуть свету магазина, ждала хозяина, как собака. Директор подъезжал на новенькой машине «Победа», обходил все свои владения, просматривал пломбы. Дорка по утрам варила ему кофе и бегала в магазин за продуктами для бутербродов. По простоте душевной она пыталась дать ему пару советов, но он грубо оборвал её: «В ваших советах не нуждаюсь, наслышан о всех ваших делишках и подружках. Скажите ещё спасибо, что работаете у меня».

Тайной, покрытой мраком, оставалось всё, что делается в подвале. Какой товар привезли, какой вывезли, никто не знал. Что выбросят в продажу, тем и торговали. В магазин зайдут покупатели, покрутятся, потыркаются впустую и уходят восвояси, только и мой за ними пол. Только иногда попадались Дорке пустые коробки от импортной обуви или ГДРовского белья. Одно время подумывала сдать какой-нибудь девчонке угол, но и эту мысль она выбросила раз и навсегда из головы. Вовчик ей такой концерт закатал по заявкам, что неделю после этого в себя приходила.

В единственный выходной, понедельник, маяться по пустой квартире не было никаких сил. И Дорка с раннего утра уезжала к своей подруге Надежде и хоть там душу отводила. Сама Надька выглядела не ахти. Со скрипом двигалась по малюсенькой кухоньке. Угощала Дорку по-барски, даже коньяком в пять звёзд. Как раньше все собирались у Дорки, так теперь вся их магазинная компания переместилась к Надьке. Её подружка Женька, работающая в редакции, называла квартирку намоленной. Эта комната наш Ноев ковчег! Налазится по чердаку и причитает потом: «Ой, Наденька, какая ты умница, что не выбросила это, цены же теперь всему нет. Кому только сказать, и при Сталине сохранилось, и при румынах. Для любого музея находка. Это будет опубликовано в книге, а это снесу на киностудию. Они же все там попадают от счастья». С собой Женька обязательно приносила либо коробочку конфет, либо пирожные. Вот в понедельник

Надька и угощала свою Дорочку всем, что она для неё припрятала. Присядут, выпьют по стопочке и рассказывают друг дружке всё и про всех, как на духу.

А как Надежда начинает говорить про своих любимых Наденьку и Коленьку, так её и вообще не остановить. И самые они у неё и замечательные, и воспитанные, и умненькие, а уж какие начитанные – и говорить нечего. Всё хвастается, тащит её в большую комнату, стены которой все в полках с книгами: «Смотри, Дорочка, это всё Наденька сама прочитала, ещё из библиотеки таскает. А я тоже при деле, между прочим. С Коленькой языками занимаюсь. Мечтает мальчик плавать по морям и океанам. И Наденька доверяет мне свои технические переводы».

Надежда вся светится счастьем, прикрывает ладонью лицо от пробивающихся сквозь прозрачную занавеску солнечных лучей, в глазах хитринка: чем бы еще удивить Дорку.

– Моя Наденька на все руки мастер, настоящий инженер, по предприятиям приглашают, прямо нарасхват. Как закончила аспирантуру, ее сразу лабораторией руководить поставили, какие-то новые технологии они у себя разрабатывают. Технический прогресс, Дорочка, понимаешь? Я в этом полный профан, но она так умеет объяснить, что я тоже понемногу начинаю разбираться. Скоро всё будут делать за людей машины, и мы обгоним даже Америку.

Дорка вздыхала, качала головой:

– Так догоним, что скоро жрать нечего будет. Моей про-

фессии с веником и шваброй не грозит этот, как его, прогресс.

Надька пыталась переубедить подругу: мол, и до твоей профессии доберутся, веник автоматом заменят уборочным. На кнопку нажмешь – и поехало грязь и пыль стирать. Но видя, что Дорке разговор этот неприятен, сменила тему:

– Такие мужики вокруг Наденьки крутятся, ты не представляешь! А она, глупая, ноль внимания. Все они для нее остолопы, им только одно нужно, говорит, у них у всех лишь одна извилина – из пустой головы в мошонку.

– Куда? – на лице Дорки застыло изумление, она ничего не поняла.

Надежда, смеясь, показала пальцем между ног Дорка сообразила и тоже рассмеялась.

– Я думаю, Дора, что-то произошло с ней, кто-то напугал ее сильно или обидел. Вся их семья странная какая-то, никак от войны не отойдут. Мать каждое воскресенье в церкви пропадает, все посты соблюдает. Молится и трудится, как проклятая. Я ради них в долги влезла. У Женьки в долг взяла и у Полинки. Полинка вообще спросила: сколько надо, и на следующий день деньги притащила.

Дорка посмотрела на подругу как на ненормальную:

– Зачем им такие деньжищи?

– Так и знала, что ты взбеленишься. На денька частный дом на окраине решила для матери и сестры купить с огоро-диком. Они у себя в деревне, как бревно в глазу у этой ку-

гутни. Другой жизни для деревни нет, как сплетни плести. Не тебе мне рассказывать, какой у нас народец! До сих пор мажут говном им калитку и румынскими блядьми обзывают. Нужно же на ком-то злобу свою вымещать.

Надежда вся задрожала от возмущения, поведав, что мужа младшей сестры так заклевали, что он бросил ее с двумя детьми. А девчухи хорошенькие, беленькие. Бабуленькой ее называют. Она им сказки рассказывает, дети слушают, за-таив дыхание.

– Дорка, хоть стой, хоть падай. Я им как-то Пушкина читала, прошло недели две, и представляешь, эта двухлетняя малышка своего маленького пупсика засунула в кадучку для солений, полностью закрыла крышкой и стала выкатывать на улицу. А что оказалось? Она запомнила, как царицу и приплод в бочку поместили и выбросили в океан, и царевич Гвидон там быстро вырос. Вот и решила, что если в бочку поместить пупсика, тот тоже быстро подрастёт. Вот какое мышление в два годика!

Дорка долго молчала, выпила воды и на полном серьёзе выпалила:

– Фашисты проклятые, пацана с мамашей в море выкинули в бочке. И тогда суки были.

Надежда Ивановна от невежества подружки еле удержалась, чтобы не расхохотаться, заметив, как из-под очков Дорки потекла слеза. Она даже не решилась объяснить ей, что это самая известная сказка во всём мире.

– Успокойся, Дорка, на платочек, протри лицо, лучше расскажи, что с Вовчиком. Здоров?

– Не знаю, что и сказать, сестрица названная, ничего хорошего. Твой распрекрасный Вовчик совсем распустился. Живём, как кошка с собакой. Заявится под утро, полазит по кастрюлям и спать заваливается. А то и вовсе ночевать не приходит. Если и спрошу, на всё один ответ: не твоё дело, не маленький уже, жопу подтирать не надо. Ничего нельзя сказать или попросить что-то по дому сделать. Вешалка уже какой месяц на одном гвозде болтается, вот-вот совсем сорвется, видит же, возьми молоток. Нет, бурчит: тебе надо – ты и прибивай. Не знаю, Надюша, чем я перед ним провинилась.

Дорка, не стесняясь, стала громко плакать. Надежда пыталась ее успокоить, дергала за плечи, убеждала: перерастёт, такой возраст, всё изменится. Вот женится, детки пойдут, жизнь наладится.

– Надя, что изменится? Это характер такой, обозлился на всех и на всё. И никуда не деться. Чует моё сердце большую беду только не знаю, с какого боку ждать.

– Вечно ты каркаешь, ещё чего-нибудь действительно накаркаешь.

Сказать правду даже Надежде Дорка не решилась. Поняла, давно поняла, не такая уж она глупая, почему её сын так переменился. И почему её, свою родную мать, презирает и ненавидит. Сама виновата, сама познакомила сына с бывшей подружкой своей свекрови, Нины Андреевны Ерёмичевой.

ной. Что на неё тогда нашло, проклинает тот день и час, когда решила, чтобы Вовчик узнал, кто были его дедушка и бабушка. Вот он и узнал на её горе. Да она и сама просто обалдела от услышанного. Как Вовчик упирался, не хотел переться ни к какой старухе. Она его фактически силком потащила. Убедила, что скользко, боится темноты, обещала, что только на полчаса заскочат, навестят подружку бабушки и обратно домой.

День выдался холодный, ветреный. О такой погоде недаром говорят: хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но вышло всё наоборот. Сама Дорка уже собралась уходить, несколько раз порывалась, но сын словно спелся с этой старушечкой. Всё задавал и задавал вопросы. Что и как, и когда, и где это было. С того дня его как подменили. Заранее просил Дорку купить продукты для старухи. В гостях у Веры Константиновны он стал бывать чуть ли не каждую неделю. Свою однокомнатную квартирку которую та получила как реабилитированная, она называла не иначе, как салоном. Вовчик всё утро чепурился, мылся-брился, наглаживался, даже сам туфли свои чистил, раньше такого в помине не было. Брал с собой гитару книги и под реверанс «честь имею!» растворялся, громко хлопнув дверью. От сына она теперь выслушивала одни замечания. Он то и дело Дорке выговаривал: кто так рубашку гладит, не умеешь – не берись, всё только испортишь. Уходил, пугая вечно подслушивающую соседку с Греческой улицы, которая подкрадывалась к

ним под дверь, словно тень. Вовчик никогда не называл последнюю по имени, а только: там твоя сучка с Греческой уже присосалась к дверям, оторви ее. Как только Вовчик исчезал, здесь же нарисовывалась она:

– Дорочка, не переживайте вы так, не на до, деточка, плакать. У нас, на Греческой, у соседки тоже не ладилась отношения со взрослым сыном. Так что вы думаете? Разменялись, разъехались в разные стороны, и дело с концом. А как разбежались, так и подружились. Куда это ваш Вовчик с утра пораньше намылился?

– Мне он не докладывает.

– А мне кажется, я догадываюсь. У нас на Греческой одна красотка жила, симпатяга девка, ни дать ни взять, так вот, к ней любовник чуть свет наведывался. Муж рано на работу убегал, а этот тут же к ней, как партизан, пробирался. Подпольщики-любовники, как вам это? Мы все делали вид, что ничего не замечаем.

– Так воскресенье сегодня, – не выдержала Дорка. – Какая работа?

– Здрасти, я ваша тётя, её муж и в выходные дежурил. Иди знай – дежурил ли... И тебе, голубушка, надо проследить, так, на всякий случай, куда он заладил по утрам шастать. Я тебе больше скажу Дора, он даже зубы стал чистить, вот тебе крест, не веришь? Всю раковину зубным порошком оплевал. Фифа у него объявилась, не встать мне с этого места. Чтоб я так жила, чует моё сердце. И радоваться тебе надо, а не пла-

кать. Такой симпатичный хлопец, а больно неприветливый он у тебя.

Соседка с Греческой тут же пожаловалась, что Вовчик грубоват, вчера он сказал ей, как приبلудной кошке: «Брысь отсюда!» Но она не обижается, если с матерью родной так обращается, то что говорить о ней. А сколько она для него сделала? А? Никто же не считается. Ой, да не о чём говорить, раньше никто не мог себе такого позволить. А теперь что? Сплошной пролетариат. Рабочему классу везде у нас дорога и почёт. Дорка ничего не отвечала, сидела, обхватив голову руками, и ждала, когда соседка уже скроется с ее глаз. Но та продолжала через слово повторять по слогам: про-ле-та-ри-ат.

Портить Дорке отношения с ней не было никакого резона. Что взять с несчастной одинокой старухи при живых детях. Из Питера родной сынок и его жёнушка теперь даже летом в Одессу не приезжают. Присылают открытки с курортов: то с Ялты, то с Сочи. Целой стопкой лежат эти открытки с приветами в тумбочке, от которых ни тепло, ни жарко, а только веет холодом безразличия. Вечерами достаёт она эти послания, пересмотрит, опять сложит в ящик и ложится в холодную постель с одним желанием к утру не проснуться. Почти до утра представляла она, что однажды так и будет. И тогда приедет наконец её сыночек к ней вместе с невесткой и будут плакать горько-горько у изголовья. И сама она начинала плакать, и усypала вся в слезах изо дня в день, из года в год.

Дорка потихоньку успокоилась. Что ожидать от сына, когда она сама во всём виновата. Не в свои сани не садись. Ведь предупреждала её мать, едва она только заикнулась о Викторе. Коршуном налетела на дочь Ципа, шипела змеей, орала во всю еврейскую потку: не смей, ты что, совсем с ума спятила? Мы сами тебе жениха подберём, когда надо будет. Дорка тогда от злости только огрызнулась: тебе ведь подобрали, очень довольна? Ципа не нашлась, что ответить взрослой дочери, и только стала причитать на идише. Доркина мать Виктора так и не приняла. А теперь вот и Доркин родной сын ее тяготится, отталкивает от себя, стыдится, а может, и брезгует. Боль сдавила грудь Дорке, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Даст бог подохну и освобожу сына от себя.

Все это Дорка глубокой занозой держала в себе и рассказать даже своей самой верной и преданной подруге Надежде не решалась. Как же так в жизни получается, думала Дорка, возвращаясь домой в полупустом трамвае, уставившись в грязное стекло. Невольная зависть лезла и лезла в голову. И уже от неё невозможно избавиться. Да, Надежда при любых обстоятельствах умела как-то приспособиться в жизни. И при царе, и при революции несколько мужей сменила, и опять же в войну не бедствовала, да и после войны сумела неплохо о устроиться. А сейчас и говорить нечего, такую племянницу отхватила и живёт в любви и достатке, и самое главное – в почитании и уважении. А она, Дорка, даже преданных Лёвку с Фимкой, считай, потеряла. Сын их на дух не пе-

реносит Но вера, что сын изменится, у Дорки всё-таки тлеющим огоньком, слабой искоркой проблескивала. Приходя от старухи, он стал приносить книжки и до полуночи их читал. А вдруг за ум возьмётся, и будет праздник ещё на её улице.

Неожиданно Дорка получила повестку в военкомат. Самой ее дома не было, расписалась в получении у почтальона соседка. Парня почтальона знал весь район. Ещё при румынах пацанёнком ему оторвало правую руку по локоть, а левую выше кисти. Кое-как хирурги ему разрезали кость на левой руке, и в эту расщелину он, ловко орудуя ртом, вставлял карандаш и даже писал. Соседка сама его уговорила не носить извещение к Дорке на работу, чтобы не было лишних разговоров. Да и он сам с детства знал Вовчика как облупленного. Даже признался, что с его-то инвалидностью за последние два года получал не одну повестку. Как будто бы за это время у него руки могли отрасти. Должен был лично предъявлять комиссии свои обрубки. Единственное, что почтальона удивило: странно, повестка выписана на мать, а не на сына. Вроде как Вовчику не доверяют. Может, думают, что он уваливает от призыва? Так это бесполезно, они его из-под земли найдут.

– Ещё срок схлопочет, – предупредил почтальон соседку, – вы ему так и передайте, с ними не шутят И тётя Дора пусть обязательно сходит сначала, и документы о здоровье Вовчика прихватить не помешает.

Соседка даже слезу не сдержала, когда почтальон этим обрубком с покрасневшей кожей в месте прорези ловко заполнил бланк и дал ей расписаться.

– А ты-то как сам, сынок? – спросила старушка.

– У меня всё в порядке, уже на втором курсе университета, учусь на вечернем.

– Какой ты молодец. А наш Вовчик, твой тёзка, никак за ум не возьмётся. Ему армия бы не помешала. Вон какой бугай вырос, правда, кашляет, так ведь и курит ещё. А как Дорке все нервы истрепал? У неё уже голова трясётся. Еще вот что...

Но почтальон уже ее не слышал, быстро спустился по лестнице, надо было разнести письма еще по нескольким адресам. Соседка тут же понеслась в магазин к Дорке. Ещё с порога она стала руками звать ее, пугливо оглядываясь по сторонам: «Выйдем, Дорочка, на улицу, я тебе сейчас такое скажу». У бедной женщины за тряслись поджилки, ноги стали ватными, лицо побагровело. В голове застучало: что-то страшное случилось, она не знает ещё что, но что-то, наверное, ужасное, она этого постоянно ждала. Сердце не то что забилося, оно прямо заухало в горле.

– Что он, паршивец, опять натворил? – крикнула она, сдергивая и протирая запотевшие очки.

– Не знаю, что с ним, вот, сама читай, – старуха сунула Дорке повестку. Прочсть её она сразу не смогла. Дрожащими руками медленно развернула этот маленький листочек,

который извещал, что ей, Доре Моисеевне Ерёминой, следует явиться в военкомат Центрального района, число, месяц, год и время. И всё, больше ничего. Единственная мысль, которая пришла ей в голову, что её Вовчика, очевидно, призовут служить, несмотря на полученный им белый билет. И сама она в этом виновата. Сама же пожаловалась на него врачихе, которая приходила к ней домой, когда Дорка болела: что сын неблагодарный, измывается над ней, а она всё для него сделала – и выходила, и вылечила, и от армии спасла. Что на неё тоща нашло, так разоткровенничалась.

Несколько дней Дорка металась, как раненая, боясь с кем-либо поделиться своей бедой. Что только не крутилось в её воспалённом уме, даже покойная свекровь приснилась такой, какой Дорка никогда её не видела: молодой и смеющейся, качающейся на каких-то немислимых качелях. Она то подлетала к Дорке, тянула к ней руки, то возвращалась высоко в небо, закидывая назад голову, а раскачивал ее на этих сумасшедших качелях мужчина в морской парадной форме. Блеск золотого кортика, висящего у мужчины сбоку, ослеплял Дорку. Его она видела только со спины, лицом к ней он не поворачивался, однако она чувствовала, что знает этого человека.

Кто-то во сне её растолкал, тормозил за плечо: «Мама, мама! Ты чего? Проснись! – Вовчик испуганно будил мечущуюся на кровати мать. – Тебе плохо, может, врача позову? – Вовчик нежно гладил Дорку по лицу: – Я накапаю тебе

кремлёвских капель или лучше валерьянки?» Дорка покачала головой: «Не надо. Мне, Вовчик, бабушка твоя приснилась (она уже полностью пришла в себя) на качелях... не одна, наверное, с твоим дедом совсем молодым... Я подумала сначала, она с моим Витенькой, твоим папой. Нет, это был не он. Они так радостно смеялись. Господи, к чему бы это?»

Дорка разрыдалась. Сын выключил свет, пробурчал: «Кончай этот концерт по заявкам, давай спать. Мне завтра на работу, а тебе, вижу, совсем делать нечего, концерты во сне устраиваешь, разная ерунда снится».

Она лежала тихо, боясь лишний раз вздохнуть, чтобы не слышал сын, и размышляла. Её мама Ципа всегда, когда что-нибудь приснится или просто нужно было посоветоваться, сразу бежала в синагогу. Как ещё Дорка её высмеивала. А сейчас она с радостью сама бы побежала к раввину, да синагога на Пересыпи сгорела, и бежать ей некуда и не к кому. Разве что сходить в церковь. Там ведь надо креститься, а она не православная, ещё выгонят с позором. А если надеть платочек и, как покойная свекровь, просто поставить свечи и тихонько про себя нашептать богу, попросить у него помощи. Свекровь всегда повторяла, что бог един. У него просто было много сыновей с разными вероисповеданиями. Всё, как у людей: рассорились братья, кто главнее, кто к небу ближе. Вот и стали, в конце концов, враждовать за истинную веру. А вера она должна быть одна – в создателя. Это уж люди сами как хотят извращают её в своих интересах. И предают и бога,

и его сыновей Иисуса и Магомеда, а больше всего ненавидят евреев за то, что они не верят в божьих сыновей, присланных к ним на землю.

К утру она окончательно решила сходить в церковь, вдруг боженька сжалится и отведёт беду от её мальчика. Но другую, более страшную мысль она гнала от себя и днём и ночью. А мысль эта хуже назойливой мухи разъедала безжалостно её воспалённый мозг. От нее сердце Дорки останавливалось и из груди вырывался не крик, а какой-то звериный рёв, который она еле сдерживала.

А вдруг её Витенька вовсе не пропал без вести. А тог да, в 41-м, сдался в плен или того хуже... она даже мысленно не могла себе позволить так думать. Нет, пусть режут меня на куски, рвут на части, я никогда не поверю, что мой Витенька не выдержал и стал предателем. Она даже в кино, когда видела негодяев – предателей, всяких полицаев, власовцев, не могла поверить, что это просто обыкновенные артисты и им досталась такая роль. С Надеждой спорила, что хороший нормальный человек, даже великий артист никогда не согласится играть такого подлеца. Но наедине с собой она всё же рассуждала: может, это так и есть, её Витенька не выдержал или, того хуже, затаил обиду на советскую власть за отца, за деда и только всё это время ждал. Никогда же он с ней ни словом, ни полсловом не обмолвился ни о своём отце, ни о деде. Только и было ей известно: отец его погиб в Гражданскую в Севастополе – и всё. Да Дорку это нисколько не

интересовало. Столько народу тог да полегло непонятно за что. Зато царя ненавистного скинули, он во всём и виноват был. Ещё разрушили тюрьму народов раз и навсегда и повыгоняли всех буржуев. А плохо живём потому, что у советской власти много врагов, чего только один Гитлер натворил.

Зачем же всё-таки её вызывают? Опять на её пути военные. Опять будут допрашивать: как ей, еврейке, удалось уцелеть, ещё и с сыном во время оккупации? Если же насчёт свекрови, то они её, несчастную, сами реабилитировали. Никто их не просил, Дорка ни разу сама не обращалась, чтобы хуже не было.

Она опять в который раз задавала себе этот проклятый вопрос: «А может? А вдруг?» За эти дни ожидания и неизвестности Дорка не то что похудела и осунулась, а просто превратилась в сплошной комок нервов. Возвращается с работы, поднимается к собственной квартире, не успевает еще вставить ключ в замочную скважину как дверь сама перед ней открывается. Дорка в ужасе как заорет. На её вопль все двери разом распахнулись. В доме поднялся переполох. Люди в недоумении: что происходит? Просто соседка по ее коммуналке секундой раньше открыла эту проклятую дверь изнутри, чтобы выйти и посидеть во дворе на лавочке.

– Дорочка! Разве так можно? Вам будет лучше, если я инфаркт схвачу? Мне это нужно? Что вы такая пугливая? Вы хотите моей смерти, чтобы мое сердце остановилось? Разве так можно распускать нервы. Не у одной вас такой сынок

знаменитый.

Соседку, словно часы, завел кто-то, или внутри нее злости чересчур много накопилось. Может, и лучше будет, если его загребут, хватит отлынивать. Пусть послужит, как все. Ее сын войну прошёл, а этот наглец... Кому только сказать, в кого уродился, Дорочка ведь такая добрая, покладистая женщина, а сынок... Как он смеет родную мать называть Доркой? Дорка перестала понимать, что она там тарыхтит.

– Какая вы ему Дорка? Вот и рожай их после этого, воспитывай, всё для них, – соседка присела на край табуретки, уткнувшись в плечо Дорки, и гладила ее по спине. Иногда замолкала, чтобы не добить окончательно несчастную женщину, а потом опять с новой энергией продолжала тараторить: – А они вырастут и помашут тебе ручкой: «Аривидерчи». До свидания, дорогая, до свидания. Вы меня о моей внучке спрашиваете, я так и не видела ее. Не знаю, какая она растет. Прячут от меня, а позвали бы – я бы пешком по шпалам к ним до самого Ленинграда дошла. Никому я тоже не нужна, ругаю себя, что задержалась на этом свете.

В ночь перед визитом в военкомат Дорка маялась разными дурными мыслями, которые лезли ей в голову. Утром умылась, оделась в своё единственное приличное платье. Есть не хотелось, кусок хлеба в глотку не лез. Выпила холодного чая. Пересмотрела ещё раз содержание кошёлки, которую целую неделю собирала. Обычно с этой кошёлкой, она ходила на базар, а теперь в ней были уложены её вещи первой

необходимости. Ну, вот и всё: паспорт, повестка, сумка. Хотела сыну оставить записочку, однако, сколько ни пыталась что-то написать, ничего не получалось. Скомканные бумажки выбросила в печку. Разревевшись, обняла сначала печку потом провела рукой по дымоходам: спасительница моя, подружка верная, не можешь ты мне больше помочь, никто не может Сыночка моего согревай своим теплом, как в те страшные годы. Прощай!

Мучила её мысль обратиться к мужу бывшей квартирантки Жанночки, но так и не решилась. Он в милиции служит, человек порядочный, добрый, наверняка не откажет, вступится за неё. А вдруг это ему самому навредит? Так никому ничего и не сказала. Только протёрла портрет свекрови: мама, видно, моя очередь настала, прощай! Еще раз взглянула на портрет, пытаясь навсегда запомнить каждую черточку лица, и тихо вышла, как привидение. Двигалась по улице, никого не замечая. Вот и это, знакомое зловещее здание военкомата. Сюда в 41-м она привела своего Витеньку, чтобы больше никогда не увидеть. Теперь её очередь пришла переступить этот страшный порог. Но сына своего она им, пока жива, не отдаст. Она в их полном распоряжении, а сына не смейте трогать. «Позвоню все-таки Жанночке, предупрежу ее, мало ли что», – подумала Дорка, заведя у входа в военкомат телефон-автомат.

В проходной она сунулась в окошечко, протянула солдатку свой паспорт с повесткой. Солдатик отдал честь и ска-

зал: «Вам, гражданочка, в 10-й кабинет. Это по коридору направо, а потом еще раз направо. Упретесь в него». Она прошла вертушку и замерла, как вкопанная. Поджилки трясутся, валерьянку на сахар накапала, даже не считала, сколько капель, думала, успокоится. По коридору туда-сюда сновали всякие военные, на неё поглядывали. Дорке было не до них, туман страха застилал глаза, она не заметила, как к ней подошёл молоденький лейтенантик, взял под руку: не волнуйтесь, я проведу, вас уже ждут.

Куда её вели, она не видела, шла, как истукан, печатая каждый шаг несгибаемыми ногами. В узком длинном коридоре споткнулась, зацепившись за плюшевую ковровую дорожку. Но лейтенант удержал её. – Пойдите здесь минуточку, вас сейчас пригласят, – предупредил он. Дорка безучастно облокотилась спиной на стенку, прижав к груди двумя руками сумку с пожитками. «Что-то они со мной долго церемонятся, – мелькнуло в голове, – или тактика у них, как в кино. Сначала по-хорошему потом покажут, где раки зимуют. Что они ещё от неё хотят?» Ожидание казалось ей вечностью. Наконец двухстворчатая дубовая блестящая дверь открылась и всё тот же лейтенант сказал: «Дора Моисеевна, проходите!»

Перед Доркой предстала большая залитая солнечным светом комната. По стенам стояли в ряд стулья, на которых сидело много военных. Она не различала их чинов и званий. Посреди комнаты был большой стол, из-за которого ей

навстречу, улыбаясь и протягивая руки, вышел то ли генерал, то ли полковник. Она сумку свою автоматически спрятала за спину.

– Дора Моисеевна! – этот седой военный приблизился к ней вплотную, проводил к своему столу, усадил, а сам остался стоять, со своих мест поднялись и остальные военные. – Дора Моисеевна, – его голос от волнения дребезжал, – мы вас пригласили сегодня, чтобы сообщить... сообщить вам, что ваш муж, Ерёмин Виктор Владимирович, нашёлся. Не пропал без вести в трагические дни обороны нашего города-героя, нашей родной Одессы. А геройски защищал ее до самой смерти. Юным следопытам спасибо, это они обнаружили окоп с останками лейтенанта Ерёмина Виктора Владимировича и других героев-солдат. Вот по этому ножичку распознали. А вам мы вручаем награду мужа: медаль «За отвагу» и удостоверение. И, конечно, на вечную память – ножичек. На нем дарственная надпись: «Витьке Ерёмину от Ивана и Аркадия». Вам он знаком?

Дорка бросила свою сумку и буквально вырвала из рук генерала маленький складной ножичек, весь проржавевший, и, плача, стала его целовать: «Витенька, мой Витенька! Я всегда знала, что ты собой пожертвуешь ради других. Я же была тогда совсем рядом. Витенька! У тебя сын растёт, уже взрослый он, мы с твоей мамой назвали его в честь твоего отца – Владимиром».

Все по очереди поздравляли Дорку, жали ей руку, тепло

проводили.

– Будут какие-то просьбы, не стесняйтесь, обращайтесь, обязательно поможем жене героя.

Она и опомниться не успела, как оказалась со своей кошелкой в одной руке и коробочкой с медалью и ножичком в другой на улице. Дошла до первого дерева, облокотилась на него и разжала руку: Витя, Витенька, бедный мой, родной. Сколько она так стояла, не помнила и не знала. Потом тихонько ноги сами её понесли по привычке на Софиевскую улицу, теперь Короленко. В магазине все замерли, когда, как привидение, появилась их уборщица Дорка. Она медленно зашла в магазин, поворачивая голову из стороны в сторону. Прислонившись к ближайшему от входа прилавку, стала сжимать и разжимать ладонь с коробочкой, в которой лежала Витенькина боевая награда, и застонала от душевной боли.

Перед её неожиданным появлением завмаг рвал и метал, что немедленно уволит эту наглую прогульщицу. Вышвырнет на улицу, кричал он. Теперь-то точно, она не отвертится. Два раза посылал продавщицу за Доркой домой, справиться, мало ли чего, вдруг заболела. Соседи сообщили, что видели, как она утром с сумкой куда-то ушла. Всё, потирал руки заведующий, песенка этой жиловки спета. Он уже и акт подготовил о её прогуле, да и других недостатков наберётся выше крыши. У него в книжечке прямо досье на эту особу. Избавится он в конце концов от этой четырёхглазой еврейки навсегда. Чума сраная, всюду суёт свой длинный нос. Надо

же набраться нахальства заговорить с ним на идиш. С ним, русским Соколовым; он подошёл к висящему за ширмочкой в кабинете зеркалу и гордо посмотрел на себя в зеркало. Да, нос, конечно, подкачал, ничего не скажешь. Эта жидовская кровь никак не разбавляется, так и прёт в каждом поколении. Вот и у дочери шнобель уже растёт. У жены личико, как у куколки. Так нет же, дочка в него уродилась. Катенька смеётся и повторяет: это от того, что я тебя очень люблю. Оно, конечно, приятно, когда дочка отца любит, но как потом замуж выйдет с таким носищем.

Наконец ему дол ожил и: уборщица появилась. Так-с, он расправил перед зеркалом плечи, ещё раз посмотрел на себя в профиль, плюнул, гордо задрал голову, на ходу подтянул рвущиеся уже от давности подтяжки и рванул в атаку в торговый зал.

– Это что за ясное солнышко у нас засияло? Дора Моисеевна, для вас что, законы не писаны? Когда хочу, тогда прихожу на работу, что хочу – творю. Видите эту книжицу, в ней все ваши подвиги трудовые. Моё терпение волынаться с вами кончилось раз и навсегда. Вы уволены за систематические упущения в работе и за сегодняшний прогул. Забирайте свои рваные монатки и мотайте отсюда с моих глаз, быстрее, скатертью дорога. Всему коллективу надоели ваши закидоны. Как ни спрошу, где уборщица, почему в зале грязь, один ответ слышу: побежала домой, сейчас придёт. Так вот, Дора Моисеевна, можете навсегда у себя дома оставаться.

Заведующего бесило, как Дорка смотрела на него ничего не понимающими глазами, это же выражение полной ослеплости. Дорка не шелохнулась, продолжала так же стоять на месте, казалось, она ничего не слышит и не видит. В её громадных очках только отражался свет магазинной люстры. Она вдруг словно очнулась и, улыбнувшись, протянула заведующему красную коробочку.

– Что вы мне тычете? – возмутился он. – Быстрее проваливайтесь, не мешайте работать.

Обступившие Дорку продавцы сами взяли из ее рук коробочку, раскрыли ее:

– Дорочка, что это?

Она еле слышно пролепетала:

– Медаль... Мой муж нашёлся! Заглатывая слёзы, дрожа всем телом, продолжала: – Мой Витенька нашёлся, мой муж, Вовчика папка. Я только что из военкомата, генерал Витенькину медаль вручил. Посмертно наградили. Герой ваш муж, сказал. Нашли его ребята-следопыты в окопчике под Одессой. По ножичку признали, вот по этому ножичку.

Дорка достала из сумки платок, вытерла им слезы, протерла выступивший на лбу пот. Без всякой злости, глаза в глаза, посмотрела на завмага:

– Не боюсь я вас, уйду. Я в сорок первом не боялась, на передовой была, окопы с девчатами рыли под самым носом у румын. И мой Витенька не испугался, до последнего патрона отстреливался, Одессу защищал с другими солдатиками-ге-

роями. Тоже мне напугали. Мыть полы везде смогу.

Она уже было развернулась, схватила свою сумку, чтобы уйти, как её обнял Дмитрич, пожилой прихрамывающий участник войны, продавец из отдела тканей:

– Да вы что, Дорочка, надумали – уходить? Так мы вас и отпустим. Вы нам всем, как мать родная, в этом магазине. И трудовой коллектив не надо примешивать, трудовой коллектив Дору Моисеевну в обиду не даст, заставит считаться с его мнением. Теперь не те времена.

Все осуждающе уставились на заведующего. Галка, бойбаба из парфюмерного, глотку кому хочешь перегрызет, с укором глядя на него, завопила своим грубоватым голосом, что тот много на себя берет, хозяином себя мнит, хотя в торговле ни черта не соображает, прислали по райкомовской разнарядке и думает, на него управы нет. Черта с два. А на всякие книжечки с недостатками у нас есть свои книжечки, правда, девочки, милиции очень интересно будет их прочитать.

Бойкая Галка выбежала из-за прилавка, схватила стоявшую у входной двери Доркину швабру:

– Желающие есть помахать? То-то. А ты, Константин Петрович, профсоюз липовый, что молчишь? В рот воды набрал или с утра начальственного коньяка залил туда, все угодить стараешься. На кой хрен ты нам такой нужен, только взносы собирать, переизберем, Дору Моисеевну выберем. Она честная женщина, порядочная. У нее сегодня такой день, а вы...

Заведующий хорошо знал про крутой нрав этой рыжеволосой Галки, она выросла среди блатных на Пересыпи, с блатными связь не теряла, и он откровенно побаивался ее.

– Так я что, я ж не знал. Причина уважительная, я бы сказал, великая. Я сам лично очень рад за вас, Дора Моисеевна, искренне рад, – лепетал завмаг, он не ожидал такого отпора. Но его уже никто не слушал.

Дорку все обнимали, целовали. Даже покупатели, которые за столько лет как будто бы с ней породнились. Новость сама перебежала дорогу и стала известна в ее дворе. Соседи по дому неслись в магазин поздравлять свою Дорку Витька нашёлся, Нины Андреевны сын, Доркин муж, Володькин отец нашёлся и с почестями захоронен. И вдруг Дорка осознала, что только сейчас, только сегодня, спустя столько лет, она получила это страшное извещение. Её Витенька умер сегодня, его убили сейчас. И никаких надежд у неё больше нет. Всё, расстрелян! Она схватилась за своё больное сердце, побледнела, в глазах потемнело, в ушах гул.

– Воды, воды, валерьянки накапайте ей, – закричала Галка. – «Скорую» вызывайте.

Дорку перенесли на диванчик в директорский кабинет. Галка хлопотала над ней, кричала, чтобы все расступились, раскрыли настежь двери, прикладывала к лицу влажное полотенце и причитала: ну как же так, Дорочка, такой день, помянуть Витеньку надо и свекровь твою, Нину Андреевну. Ни за что отмучилась женщина, бог смилостивится, устроит

ей теперь встречу с сыном-героем на том свете. Дорка ничего не слышала, лежала тих о, в полудреме и не ведала, что «скорая помощь» с инфарктом отвезет ее в Еврейскую больницу. Вовчик изредка ее навещал, но долго не засиживался, все куда-то спешил. Дорка смирилась, соседки по пала те заполняли тоску и душевную пустоту своими рассказами. У каждой была своя история, нелегкая жизнь. Да и она сама что только не передумала, о чем только не вспомнила за этот месяц.

Дымоход старой печи

Большая семья Дорки жила на Молдаванке. Издавна в этом районе Одессы селились бедняки. Глава семейства Моисей работал на скотобойне. Маленький худенький еврей целый день выскабливал шкуры убитых животных, потом раскладывал, подвешивал, засыпал солью и запихивал в бочки. Страшная вонь, мухи и пахнущие падалью шкуры целый день мелькали перед глазами. К вечеру он мылся, переодевался, получал кусок хорошего мяса и шел припевая домой, не замечая тяжелого духа, который длинным шлейфом тянулся за ним.

Мать Дорки, Ципа, наоборот, была крупной ширококостной женщиной-командиром. С каждым родившимся ребенком она полнела все больше и больше. Дети часто болели и умирали, в живых осталось только четверо. Квартирка их состояла из двух маленьких полуподвальных комнатушек и кухоньки; дед Моисея, промышлявший, как многие на Молдаванке, контрабандой, построил все это в самом конце длинного двора. Перед каждой квартиркой были отгорожены заборчиком небольшие палисаднички, обвитые диким виноградом по самую трубу на крыше. Здесь мыли детей, стирали, готовили пищу, вся жизнь проходила в палисадниках. Посреди двора, рядом с туалетом и краном, росла большая акация – гордость и любимица обитателей этих трущоб.

Дорка, старшая в семье, первая пошла работать на фабрику. Крупная, в мать, она постриглась, повязала красную пролетарскую косынку; озорная, сильная, веселая, быстро освоилась и мечтала стать стахановкой-многостаночницей. Ее единогласно приняли в комсомол, и там она была первой. Однажды в их цех пришел работать невысокий, худенький, интеллигентный паренек, отслуживший армию. Они стали встречаться. Виктор жил в центре города с матерью, отец погиб еще в первую мировую. Нина Андреевна очень хотела, чтобы ее Витенька учился. Учились они уже вдвоем на рабфаке, вместе на фабрику вместе на занятия, вместе – общественные работы. Парочка стала неразлучной. Виктору надоело ежедневно провожать Дорку и они, никого не предупредив, не испросив согласия у родных, расписались.

Сначала объявили Доркиным родителям. Моисей стоял растерянно, на глаза навернулись слезы, и он не сказал ни слова. За то Ципа радостно пошла навстречу молодым, расцеловала их – и быстро начала доставать из шкафа Доркины вещички. Завязав их в узелок, сунула в руки Виктору и принялась своим большим телом быстро-быстро их выпроваживать. Молодые не успели опомниться, как оказались на улице. Так, пешком, с узелком, они, уже не очень радостные, медленно шли через весь город к дому Виктора. Энтузиазм Виктора улетучился – вдруг и его мама поступит так же, как Доркина? Она уже высказывалась нелицеприятно о Дорке. А он малодушничал, жалел мать и убеждал ее, что это просто

дружба и ничего такого у них с Доркой нет. А ведь было... Дорка тоже притихла. Как провинившаяся, она плелась сзади мужа, строя планы назавтра пойти в профком и попросить общежитие. Но сегодня уже почти ночь.

В коммунальной квартире, где жила семья Ереминых, их комната по коридору была последней и угловой. Комната большая квадратная светлая с высокими потолками, от двери влево ее украшала выложенная белым кафелем печь. В углу между стенкой и печкой стояла никелированная кровать, на которой спала мать. Витькин кожаный диван с высокой спинкой прятался за круглым столом. Витька шел и корил себя – как же он мог не подумать о матери? И перед Доркой стыдно.

Нина Андреевна очень удивилась стуку в дверь. Обычно Витенька сам открывал, тихонько заходил, пил молоко с булочкой и ложился на уже постеленный диван, а тут вдруг стучит. Она быстро накинула на плечи хала тик, открыла дверь и увидела парочку с узелком. По их сконфуженным лицам со взглядом нашкодивших взрослых детей она все поняла, достала из буфета бутылочку вина, расставила стопочки, нарезала сало ломтиками, разложила веером черный хлеб. Так, втроем, они отметили свадьбу. Икону Нина Андреевна хотела было снять со стены, но передумала, сама помолилась. Перестелила свою кровать для молодых, а сама улеглась калачиком на диван сына. Медленно скатывались слезы на подушку. Она вспоминала свое венчание. 14-й год, война,

смерть мужа, рождение Витеньки. После жутких лет войны, революций, голода, холода родных никого не осталось, хорошо хоть Витеньку сохранила – и вот он уже женился. Господи, на еврейке. Мир перевернулся, с церковью кресты сбрасывали, собор, где венчалась, вообще взорвали. Да сейчас все атеисты, дай бог, чтобы у них было все хорошо.

Молодые возвращались с работы поздно, и теперь Нина Андреевна на стол ставила два стакана молока и две булочки. С собой она ничего не могла поделаться, ревновала сына к невестке, пыталась ее воспитывать, но Дорка сопротивлялась и про себя называла ее старой барыней. Витенька готовился поступать в институт, Дорка закончила семилетку. Все чаще инициативная Дорка подзуживала мужа снести печку, которая занимает полкомнаты, но свекровь сопротивлялась. Дорка каждый раз приводила все новые доводы, что на первом этаже печки нет, там вообще две комнаты. Наконец Нина Андреевна сдалась – делайте что хотите. Пришел печник, осмотрел первый этаж, чердак, выпил стопочку и констатировал, что половина печки это дымоход от печки первого этажа и с подвала. Так что печку можно оставить, а лишние дымоходы выбрать, и освободится целых два квадрата площади. На том и порешили.

Работал печник медленно; чтобы не пачкать, от стенки разобрал проход и залазил вовнутрь. Кирпичи аккуратненько протирал, укладывал в сумки и уносил. Казалось, никогда он ее не разберет, пошел уже второй месяц, а он все уно-

сил и уносил. Нина Андреевна старалась всего этого не замечать, и, едва печник появлялся в доме, тут же уходила гулять. Раньше, бывало, возьмет Витеньку и целый выходной с ним путешествует, теперь одна. По весне она любила ездить в Люстдорф, где со времен Екатерины жили немцы. Их аккуратненькие чистенькие домики с черепичными крышами блестели на солнце. С немецкой настойчивостью они в этой просоленной веками почве выращивали виноград, фруктовые деревья. После первой мировой многие семьи уехали, во время гражданской просто исчезли, теперь все здесь было в запустении. Правда, работал рыб-колхоз, можно было прикупить свежей рыбки, перламутровые сардельки лежали в каждой шаланде, накрытые брезентом. Их тут же, на берегу, перекладывали в ящики и грузили на подводы или редкие машины и везли на Привоз. Деревья цвели пышным цветом, особенно абрикосы, их розовые лепестки, словно бело-розовым снегом, обсыпали землю. Нина Андреевна шла по мощенным булыжником переулкам и вдыхала этот необыкновенный воздух с запахом моря и цветущих деревьев.

С появлением Дорки она даже в плохую погоду исчезала со своей Софиевской, садилась в трамвай и каталась по кругу. Кондукторши ее уже знали и разрешали не брать второй билет. Трамвай укачивал ее, а она, глядя в запотевшие окна, все вспоминала свое детство, родителей, мужа и, как, оставшись вдовой, с маленьким ребенком, без средств, пошла на биржу труда. Когда дошла ее очередь, уже ни на что не рас-

считывала, брали только разнорабочих – мужчин и женщин. Отдав в окошко свой листок, сразу произнесла – согласна. «Что согласна?» – изумилась девушка в окошке. – «На все согласна». – «Понятно, идите во второй кабинет».

Ей предложили работу на телефонной станции, с тех пор она там так и трудится. С появлением Дорки Нине Андреевне домой возвращаться не хотелось. Она с удовольствием соглашалась на ночные смены или если кто-то просил ее о подмене. А еще эта затея с печкой. Пьянчужка печник действовал на нервы, кирпичики выбирал медленно, по одному. Хитрюга. Она догадывалась, что относит их кому-то на новую печку где сейчас взять такие? Но, с другой стороны, и грязи нет. Вот когда разберет стены по контуру – тог да будет. Ой, гуляю, а думаю все о Дорке. И как эта девка подцепила моего Витеньку? Правда, мальчик родился слабенький, потом голод, безденежье, поздно начал ходить. От армии несколько лет отсрочку давали – слабые легкие. С девушками вообще не встречался, сторонился их. Нет, это Дорка его на себе женила. Лето летело быстро, работы много, все хотят отдохнуть, хорошо завтра воскресенье, 22 июня. Поеду в Лютсдорф, накупаюсь, там все поспело, абрикосы, черешни, накуплю всего, мечтала Нина Андреевна, засыпая.

Нине Андреевне снилась война. Она металась по постели, очнулась вся в поту, дикий гул, взрывы, свист, дом дрожал. Сын в трусах стоял возле окна, барабаня пальцами по подоконнику он всегда так делал с детства, когда волновался. Не

стговариваясь, выскочили во двор. Соседи растерянные кричали, плакали, прижимая к себе детей. Неужели война? Тихо произносили это страшное слово. Самолеты улетели, и все разом смолкло. Может, ошибка? Все разошлись. Витенька подошел к матери, обнял ее. Нина Андреевна вздрогнула, в 14-м вот так же обнималась с мужем последний раз. «Мама, помоги Дорке, она беременная, а мне собери что на до...» Дорка, белая, как мел, теребила поясок хала тика. «Витька, я тоже пойду я сдала ГТО, я хорошо стреляю». Она схватила мужа своими большими руками, и все хватала его, хватала... Нина Андреевна выбежала на улицу что-нибудь прикупить, но магазины опустели, пустые полки, и только по радио объявляли, что «Германия без объявления войны вероломно напала...»

Нина Андреевна знала, что ее тоже мобилизуют. Господи, немцы были в Одессе, и итальянцы, и французы, да кого только не было, но теперь-то кто их в город пустит. Вон военный правильно говорил – через месяц только пшик от Германии останется. Сама себя успокаивая, подошла к дому. Взглянула на темные окна: что сейчас идти, пусть побудут вдвоем. Села на лавку у ворот, она уж и забыла, когда скамейка была пустая. Ни детей, ни старух. Тишина. Вдруг смех, песни. Нина Андреевна обернулась. Посередине мостовой, как на демонстрацию, на призывной пункт шли парни и девчата в нарядных выпускных платьях. Витенька с Доркой ушли к вечеру. Она осталась одна, ходила от одного

окна к другому – хоть бы Дорка вернулась.

Дорка вернулась только под утро, рухнула на кровать и завывала в подушку. Нине Андреевне жалко ее стало, пусть выплачется. У самой уже сил плакать не было, только сердце ныло. Ей сегодня в ночную смену, не бомбят, тихо, может, все обойдется, пойду сейчас, вдруг что-то узнаю. «Дора, я на работу, а ты отдохни», – сказала она. – «Я с вами, сначала к своим забегу, а потом на фабрику».

Нина Андреевна не возвращалась домой неделю. Там же на телефонной станции они спали, ели, а Дорка пошла в бригаду, охраняла дома в ночное время, бегала с девчонками по крышам, сбрасывали зажигательные бомбы, и, как только появлялась возможность, прибегала к свекрови. Забирала ее записку, оставляла свою – и опять в бригаду. На Днестре уже всю хозяйничали немцы. Город остался без пресной воды. Жители эвакуировались, на стенах домов висели порванные плакаты – «Не отдадим Одессу врагу!» Нина Андреевна написала Дорке, чтобы та с родителями немедленно уходила, однако записка лежала, а Дорка не появлялась.

Город напоминал раненое животное, у которого не осталось сил сопротивляться. Стены домов, как оспой, побиты осколками. Нина Андреевна шла домой и не верила своим глазам. Вот отвалившийся балкон, каким красивым он был, с чугунной решеточкой, как кружево. Когда двери были распахнуты, на у лицу доносились звуки рояля. А теперь вместо двери дыра. Напротив здание с обвалившимися вовнутрь

крышей и перекрытиями. От угла улицы ее дом не проглядывался, и, пока его не увидит, сердце ее колотилось навывлет, и лишь когда она видела свой дом, немного успокаивалась. Больше идти на работу не надо было. Начальство с первых дней войны своих жен и детей, всех родственников со скрбом отправили. Вот и сегодня их уже не было, остался один комендант, приказал сжечь личные дела сотрудников, разную документацию, все, что накопилось за многие годы, и разойтись.

Работая телефонисткой с первого дня войны, она, конечно, была в курсе всех событий в городе, но чтобы такую Приморскую армию эвакуировать, да так молниеносно, в одну ночь... Сколько окопов вырыли, два с лишним месяца готовились к обороне, и вдруг в одночасье, 15 октября, армия морем покидает город, оставляя его жителей, детей, стариков, женщин один на один с немцами. А может и хорошо, рассуждала Нина Андреевна, ее Витенька где-то уплывает сейчас, наверное, специально продуманный маневр, кто его знает.

Она уже не замечала, что частенько сама с собой разговаривает, сама задает вопросы и отвечает или не находит ответа.

Но где эта дура Дорка? Может, эвакуировалась с семьей, а если нет?.. Она уже знала, немцы всех евреев в Польше, в других странах сгоняют в специальные лагеря. Дверь квартиры была открыта настежь. Соседи укатили кто куда, и толь-

ко сквозняк гулял по комнатам. Она захлопнула форточки, двери, села на свой диван и стала ждать. Временами ей казалось, что кто-то ходит по коридору или вздыхает, поднимается по лестнице, и тогда она срывалась с места, открывала дверь, но никого не было. Дни она не считала. И вдруг опять стреляют, где-то рядом настоящий бой. В городе наши! Но это были немцы. Несколько мотоциклов объезжали улицы и стреляли по окнам. Нине Андреевне вдруг жутко захотелось пить, но воды не было, за ней надо было идти на Пересыпский спуск, там из заброшенной штольни вытекал ручеек. Рано утром к нему тянулись с пустыми ведрами, очередь выстраивалась длиннющая, на целый день.

Город больше не бомбили. Люди из разбитых домов начали переселяться в свободные комнаты. Так, у Нины Андреевны появились соседи – две старушки и семья – пожилой мужчина с женой и две девочки-погодки, пятнадцати и шестнадцати лет. Она сказала им, что одинока, что муж погиб, сын в армии, почему-то о Дорке она ничего не сказала. Приходил новый назначенный дворник, на каждого составил карточку, сверяя с паспортом, наказал заполнить длинную анкету в двух экземплярах на двух языках. Нина Андреевна машинально ответила на вопросы, только о знании языков написала – нет. Поразили ее сами вопросы – о национальности до третьего колена, членах партии. Значит, все-таки правда о евреях и коммунистах. Через пару дней дворник Иван Иванович, отвесив поклон и назвав ее мадам, под-

нялся к ней опять в комнату. Его узенькие глазки пронзили Нину Андреевну насквозь, а затем так и забегали по кругу в поисках чего-нибудь стоящего. Ничего хоть мало-мальски дорогого у нее давно не было, даже обручальное кольцо не сохранила, еще в 20-е выменяла его на продукты для Витеньки.

Иван Иванович поправил на тертую до блеска дворницкую бляху и торжественно вручил ей ее же паспорт, в котором стояла печать полиции, и предложил расписаться в новой дворовой книге. Паспорт всегда должен быть при вас, мадам, предупредил дворник. Его странное западенское произношение, манера говорить тяготили ее, и, сославшись на головокружение и плохое самочувствие, она пыталась поскорее выпроводить непрошеного гостя. Но он все давал ей советы пойти на биржу пока есть места, не умирать же с голоду. Это у вас, мадам, голова от голода кружится.

Нина Андреевна постоянно думала о Дорке, ее семье, она ведь толком даже адрес не знает. Знает, где-то на Молдаванке, а где? И с родителями Доркиными даже не познакомилась. Теперь вот Витенька скоро вернется, что она ему скажет.

Как рано посыпал снег, какой жуткий холод, такого в Одессе и не помнят. Правда, слышала иной раз от стариков: мол, как первая мировая или еще какая до нее – так крепкий мороз. Неужели и сейчас к долгой войне? Нужно подниматься и идти на биржу, другого выхода нет, еще немного –

и уже не встану. Натянув на себя побольше теплого, перевязавшись крест-накрест шерстяным платком, доставшимся ей еще от матери, она, словно старушка, медленно спускалась по лестнице. Улица встретила ее «Заверюхой» – это когда страшный ветер, сбить с ног пара пустяков, редкие прохожие, если только по нужде. И вдруг что это? Впереди на сытых, откормленных лошадях медленно ехали солдаты. Пригляделась. На немцев они не были похожи. Нина Андреевна прислушалась к речи. Что-то похожее на молдавскую. Румыны. По бокам бегали какие-то люди в полувоенной одежде с белыми повязками (она сообразила – полицаи) и криком подгоняли растянувшуюся по у лице колонну. Дети крепко цеплялись за взрослых, боясь потеряться; с трудом пробивая ветер, плелись старики, все тянули за собой на самодельных тележках немудреный скарб. Вдруг какая-то старуха стала заваливаться, ее подхватили, пытались тащить. Недолго. Вскоре она завалилась окончательно, и все двинулись дальше, обходя бездыханное тело.

Колонну замыкали два конника. Один из них, взмахнув рукой, подозвал полицаю, очевидно, старшего, что-то шепнул ему. Тот склонился над женщиной, сорвал с головы платок, осмотрел оба уха, потом залез в карманы, расстегнул пальтишко, порылся за пазухой, что-то вытащил и быстро сунул к себе в брюки. Столь же сноровисто снял с рук перчатки, оглядел пальцы, затем стянул рваные ботики, брезгливо обшарил ноги. Ничего не найдя, он зло обтер снегом

ладони и, приставив винтовку к груди, для верности выстрелил. Старуха даже не дернулась, только ее глаза продолжали немигающе смотреть в это страшное серое небо. Полицай, поправив овчинный тулупчик, побежал догонять колонну которая в снежной пелене скрылась уже из виду, уползая в сторону Пересыпи.

Нина Андреевна стояла, облокотясь о выступ какого-то здания, ноги ее не слушались, ее колотил озноб, она медленно развернулась и пошла обратно к дому. Теперь она не могла больше ни о чем думать, кроме Дорки. Где она, что с ней? Неужели беременная, с ее внуком в животе вот так, в колонне, идет на Пересыпь. С матерью, отцом, и сколько у них еще детей. Господи! Как же я забыла? Она вдруг вспомнила, как смеялась Дорка, рассказывая, что ее мать опять беременна. Она, наверное, родила уже. У Дорки семь месяцев – по пальцам считала Нина Андреевна. Слезы текли по лицу, смешиваясь с колючим снегом. У ворот стоял дворник в меховой шапке, валенках и белом кожухе, подпоясанный широким немецким ремнем. Бляха все так же блестела, он периодически протирал ее рукавицей.

– Мадам Еремина, что же вы в такую погоду выбрались. Ой, ой, что же вы себя так довели, вот сюда ножку, вот сюда. – Комната ее была открыта, непротоплена, холод собачий, он заволок ее на диван, обшарил пустой буфет, заглянул за ширмочку, даже под кроватью пусто. Ни припасов, ни воды – ничего. – Разве так можно, я счас, – быстро выпалил

дворник и исчез.

Опомнилась Нина Андреевна, когда Иван Иванович заливал ей чай из ложечки в рот.

– Утром патрули были, весь дом вокруг облазили, нет ли партизан, больных каких и жидан, евреев, значит, рассказывал он. – На той неделе из 3-ей квартиры евреев выселили. Но в гетто им будет хорошо.

Теперь он каждый день стал заходить, приносил кашку, мятую картошку, супчик рыбный, суетился, кормя женщину.

– Иван Иванович, я на биржу собралась.

– Навыть? Я вас до родыча моего звезду з Карпат, вин артель видкрив, лис до него приходитьь. Добрый человек, диловой, мабуть допоможеть.

Дворник помог, устроил на работу учетчицей в цех возле самого порта.

На третий день, возвращаясь со смены, Нина Андреевна неторопливо, сберегая силы, шла вдоль стены, временами держалась за нее – не упасть бы, темно, света на у лицах не было. Внезапно впереди замаячила фигурка, она то появлялась в проеме меж домами, то исчезала – показалось. И вдруг прямо из-под земли выросла Дорка. Нина Андреевна от неожиданности ахнула, медленно сползая на землю, ноги подкосились, хорошо, ухватилась за Доркину фуфайку. Облокотившись о стоявшую одиноко сафору женщины тихо плакали. Нина Андреевна мучительно думала: как незаметно провести Дорку? Дворнику нужно стучать в окно, он от-

крывал ворота и сразу захлопывал их. Его надо как-то обмануть. Дора, я сделаю вид, что мне плохо прямо в воротах, он мне поможет, а ты быстро во двор. Потом... Я оставлю дверь в квартиру открытой, ты и прошмыгнешь.

Так и сделали. Пока Иван Иванович затаскивал Нину Андреевну на второй этаж, Дорка забежала во двор и спряталась в уборной. Нина Андреевна сказала дворнику, что отпустило, все в порядке, у нее есть хлеб, несколько яиц, она благодарна ему за все и обязательно с ним рассчитается. Она еще долго причитала, нахваливала Ивана Ивановича, выигрывая время, и наконец отпустила, услышав наказ поплотнее прихлопнуть дверь и набросить крючок.

Она слушала, как дворник спустился, как заскрежетал засов на воротах. Сердце ее билось громче этого скрежета. Нина Андреевна молилась, хоть бы кто не выглянул. В комнате она зажгла свечку, которую только сегодня купила, желтую румынскую, и присела на краешек дивана. Время тянулось медленно, наконец в дверях появилась тень, она, как привидение, двигалась на фоне дрожащей свечи. Нина Андреевна тут же последовала совету дворника, тщательно все позакрывала. Они долго стояли, крепко обнявшись, и молчали. Затем свекровь спохватилась – Дорка же голодная. Она выложила на стол все, что у нее было, налила в кружку кипятку. Дорка жадно пила, запихивала грязными руками хлеб и вдруг начала громко икать. Глотнула холодной воды, но икота не прекращалась, на лбу проступил пот. Нина Андреев-

на стала снимать с нее мокрую вонючую одежду, намочила полотенце, протерла худое тело. Не такая уж она крупная, и живот маленький. «Дора, сколько месяцев?» – «Не знаю, семь вроде бы». Она переодела Дорку отвела на кровать, сама улеглась на диван. Спрашивать дальше девушку не хотелось. Потом. Очнулась от забытья – уже светало. Растолкала Дорку, сказала, что закроет ее, поставила воду, ведро для нужды. Когда вышла на улицу, ворота были уже нараспашку, дворник расчищал снег возле уборной. Она кивнула ему с улыбкой и скрылась.

Хозяин цеха, украинец лет тридцати пяти, сразу оценил грамотность Нины Андреевны, ее пунктуальность, честность, как аккуратненько она ведет учет. Она сама тенью ходила за ним, старалась ему понравиться, ненавязчиво подсказывала, как будет лучше, что выгоднее делать. Мыкола Стэпанович, так звали молодого хозяина, смотрел на всех исподлобья, орал на рабочих до обеда, и Нине Андреевне тоже иногда доставалось. В обед выпивал пару чарок, закусывал куском домашней свиной колбасы или салом, очень любил жареную рыбу, и прямо на глазах менялся, начинал напевать себе под нос, потом опять принимал чарочку, еще больше теплел, и теперь к нему можно было обращаться с любыми вопросами. Душа человек. Дела шли хорошо, цех процветал, постепенно расширялся. С его родины, с Буга, поступал лес, пилорама приносила доход, заработала столярка, заказов много, табуретки, оконные рамы, двери нарасхват.

На работу хозяин приезжал на собственной машине. Эти малолитражки, как тараканы-прусаки, стали все больше появляться на одесских улицах. К Новому году Мыкола обустроил себе кабинет и все чаще стал просить Нину Андреевну накрывать ему стол. Она старалась особенно, когда кто-то заглядывал к нему. Она красиво сервировала, нарезала и раскладывала закуску, ставила рюмочки, бокалы. После обеда хозяин отдыхал, как боров развальясь на диване. Нина Андреевна убирала со стола, спрашивала, куда это положить. «Оце забирайте соби, нехай пацюкив не буде».

Так Нина Андреевна каждый день несла Дорке что-нибудь вкусненькое. А Дорка целыми днями лежала, иногда неслышно ходила по комнате и в ужасе думала, что будет дальше. Приближался 1942-й год. Нина Андреевна думала только о ней, бегала на Привоз или куда поближе, покупала пеленки, одеяльце, однажды ей повезло – купила немецкую маленькую бутылочку с соской. Хотела еще одну, да не было больше. В аптеках продавались, но дорого. Деньги ходили в обращении разные – и советские руб ли, и оккупационные марки, даже рейхсмарки, на них охотнее продавали, даже уступали в цене. Нина Андреевна купила новое корыто, купать ребенка, только подошла к воротам – там дворник.

– Что это вы с корытом новым, у вас же есть?

– Да прохудилось оно, выбросила, – ляпнула Нина Андреевна первое, что пришло в голову.

– Давайте подсоблю вам, занесу.

– Да что вы, Иван Иванович, и так я не знаю, как вас за все благодарить.

– Вот и приглашайте на чаек, праздник же скоро.

Он подхватил корыто и устремился вверх по лестнице. У Нины Андреевны отнялись ноги, сейчас в коридоре он видит ее старое, совсем не дырявое.

– Ну, Иван Иванович, что вы, дорогой, спасибо, – она вырывала одной рукой корыто, а другой гладила его по груди; на глаза навернулись слезы. – Какой вы золотой человек!

Дворник, красный от смущения, довольный, заулыбался:

– Рад служить хорошим людям. Ну як там мой сват, не балуе?

– Ну что вы, добрый хлопец.

Когда Нина Андреевна захлопнула за собой дверь, первое, что она сделала, сорвала старое корыто со стены, открыла дверь в комнату и влетела в нее с двумя, к ужасу изумленной Дорки. Она не сдерживалась, рыдала, уткнувшись в Доркин живот. Дорка тоже заревела, так они и плакали, пока не стало легче.

– Корыто, корыто... Надо упрятать корыто.

– Зачем? – Дорка смотрела на свекровь своими большими, покрасневшими от слез глазами.

– Дворник видел.

– И что из того? – Дорка не унималась, высмаркиваясь в чистую тряпочку.

– Я ж ему соврала, сказала, что старое в дырках, я его вы-

бросила, а он хотел с новым помочь, зайти, представляешь?

– Мама, я знаю, что делать. В печку можно спрятать, там поместится, только шибко грязно, сажа.

Нина Андреевна вздрогнула. До этого Дорка никак не называла ее, ни по имени-отчеству, только глаголила – дайте, возьмите, вы... Ай, Дорка, совсем девчонка, обстриженная голова, пришлось отстричь волосы из-за вшей и гнид. Все лопочет, поглаживая живот: «Нас трое, мама, Витенька вернется скоро, нами будет гордиться, правда?»

Женщины, не раздеваясь, улеглись на кровать, вплотную придвинув ее к печке, чтобы было потеплее. Наутро Нине Андреевне не нужно было рано на работу, и она не торопилась подниматься. «Мама, мама, немцы», – Дорка трясла ее за плечо, «Где, где?» «На улице машина, по двору ходят».

Свекровь подбежала к окну, стекла замерзли и только в маленькие просветы вверху рамы можно было разглядеть Ивана Ивановича в окружении немцев. Он что-то объяснял им, показывая на окна. Дорка завыла. «Замолчи ты, – Нина Андреевна лихорадочно вертела головой. И вдруг глазами остановились на печке: – Быстро сюда, залазь! Печник же там умещался, работал».

Они бросились к кровати, отодвинули ее, разобрали проход. Дорка засунула голову в проем и в ужасе отшатнулась. «Не так, ногами надо. Как печник», – застонала Нина Андреевна. Дорка, придерживая живот и вся трясясь, сама не зная как, оказалась в дымоходе. Свекровь быстро заложила

кирпичи, придвинула кровать, набросала подушек, одеял, за тем снова прильнула к окну. У ворот дежурили два солдата, они курили, других не было видно. Она подошла к двери, прислушалась. Раздался стук и голос Ивана Ивановича:

– Видчыняйте! Открывайте!

Из соседних комнат выглядывали испуганные соседи, никто не двигался. Нина Андреевна каким-то странным чужим голосом спросила:

– Иван Иванович, дружочек, это вы?

– Та я, я, видчыняйте.

Первым прошел солдат, автоматом открывая все двери подряд и осматривая комнаты. Жильцы с дворником и офицером проследовали на кухню. Там на столе Иван Иванович раскрыл дворовую книгу, приказал приготовить паспорта. Бросив взгляд на Нину Андреевну, он спросил: «Шо вы вся в саже?» – «Да я, да я... печку растапливаю, золу вытаскивала». Дворник вздохнул, и она увидела, что сам он бледный, нервничает. «Еремина Нина Андреевна, 1895 года рождения, проживает с 1920 года в этой квартире. Вдова, русская, здорова, вот здесь все записано. Благонадежная», – водя пальцем по строке и запинаясь чуть ли не каждым словом, читал он. Офицер брезгливо выхватил паспорт из рук Нины Андреевны, посмотрел на фото, потом на нее: «Когда получали паспорт?» – выпалил он. «До войны еще, года три тому». «Где сын?» «Забрали, сразу забрали», – заголосила в крик Нина Андреевна, не выдержав напряжения. Офицер

отдал документ: «Идите. Следующий».

– Нина Андреевна, не стойте здесь, ступайте, у вас все в порядке, – подтолкнул женщину Иван Иванович. Открыть дверь своей комнаты она не решалась, навалилась на нее всем своим телом, прислушиваясь к голосам на кухне. Следующими были старушки, они разговаривали с офицером и по-немецки, и по-французски, он даже смеялся. У них тоже все было в порядке. Обе, улыбаясь и подмигнув Нине Андреевне, скрылись в своей комнате. Дочкам третьих соседей офицер долго выписывал какие-то бумажки, они расписывались молча, бледные и растерянные.

Только когда они ушли, у Нины Андреевны отлегло: «Слава Богу, пронесло, как там Дорка?» Она отодвинула кровать, вытащила кирпичи:

– Ты где, все обошлось, вылазь.

Когда Дорка, вся в саже, вылезла, Нина Андреевна сунула ей зеркало – и обе покатались со смеху.

– Ну, хватит, теперь знаем, что нужно делать, – Нина Андреевна чмокнула невестку в черную от копоти щеку. Неделю белили кирпичи, с работы Нина Андреевна принесла по частям табурет, сложили его в печке, потом притащила кусок фанеры, соорудили там лавку, корыто старое пристроили под детскую кроватку.

Но Нина Андреевна была недовольна, все-таки видно, нужно чем-то завесить. Денег было мало, она крутилась на толкучке, искала какой-то коврик, наконец нашла, самодель-

ный, с лубочным рисунком, зато по размеру как раз. Старушка, продававшая его, сама удивилась: такая интеллигентка – и вдруг такое купила. Когда повесили – успокоились, теперь нужно только отогнуть угол и забраться вовнутрь, а оттуда заложить ровненько кирпичи. И все... Нину Андреевну понемногу отпустил страх за Дорку, за внука, она была уверена – это мальчик, и назовут они его Володькой. Как мужу шло это имя! Дорка постепенно приспособилась, где сидеть или стоять, чтобы не слышно было, если вдруг захочется чихнуть или кашлянуть, или дворник, кто-то другой придет. Решили, лучше спиной к печке.

Теперь другая мысль, как Дорке рожать, не давала покоя. В книжной лавке она купила старый акушерский справочник «Роды и родовспоможение», несколько раз прочитала сама, заставила читать Дорку. За печкой все было готово, аккуратно сложено стопкой, даже фонарик был, Витенькин, Нина Андреевна случайно наткнулась на него, роясь в комод. Завтра Новый год, нужно Ивана Ивановича поздравить, а то и пригласить. Не к пустому же столу. Она заготовила бутылку водки, немецкие папиросы, а для жены дворника – маленький флакончик духов, хозяин ей подарил.

Под новогодний вечер Нина Андреевна приделась, подождала, пока Дорка залезет в печку, спустилась вниз. Долго стучалась, никто не откликнулся, хотела было вернуться, как услышала шаги. Дверь приоткрылась, на пороге стояла дворницкая жена, женщина неопределенного возраста, она редко

выходила на улицу, ни с кем не общалась. К себе Нину Андреевну не пустила, подарки приняла, поблагодарила, сказала, что мужа нет дома, и скрылась в коридорной темноте.

Так даже лучше, думала Нина Андреевна, устало поднимаясь по лестнице. Сейчас скажу Дорке, что ее тоже ждет подарок – лимон и маленький мандарин. Ели из одной тарелки по очереди, на всякий случай. Когда Нина Андреевна готовила на кухне или выносила мусор, Дорка скрывалась в печке. Один раз зашла соседка, как раз Нина Андреевна была на кухне, тихонько позвала ее; видя, что в комнате никого нет, подбежала к буфету. Дорка стояла за ширмочкой ни жива ни мертва. Хорошо, мама вернулась с кастрюлей, и соседка ничего не обнаружила. Сейчас конспирация должна быть на первом месте, я тебя контролирую, ты – меня. Поняла? Жалко было Дорку. Ноги отекли, лицо бледное, живот вырос прямо на глазах, еле протискивается. Но Дорка старалась ежедневно раз 15–20 проделывать эту зарядку бесшумно в полной темноте.

На Новый год Нина Андреевна постелила праздничную скатерть, тарелка на ней стояла одна, свою кружку и вилку Дорка не выпускала из рук, в случае чего с ними и должна была спрятаться. Из вазочки торчала лапка елочки, от нее исходил сладкий липкий запах хвои. Дорка поела, положила голову на колени Нины Андреевны, свекровь, глядя ее по волосам, рассказывала, что творится в городе. Дорка внимательно слушала, а когда свекровь закончила, ее как будто

прорвало, и она стала рассказывать свою историю. Как с бригадой копала окопы, как бегала по крышам и сбрасывала зажигательные бомбы, как таскала раненых. Как один пожилой солдат сказал ей: «Дочка, уходите домой, все, Одессу оставляют». Ночью на машины грузили раненых, девчонок, чтобы ухаживать за ними, не брали, не положено. И они, умирая от страха, пробирались назад в город.

А дома опять рожала мать. Ципа сильно кричала на отца, тот от растерянности ничего не мог делать. Дети сидели на улице и при криках матери вздрагивали и плакали. До этого Ципа рожала в «родилке», как называли специальную больницу, и Моисей, гордый и счастливый, ходил смотреть на новорожденного, которого жена показывала ему в окно. Дорка понимала, что скоро и ее ждут такие же муки. Мать быстро справилась, появилась девочка – крупная, с рыженьким пушком на головке. За ужином отец, выпив вина, покрасневшись и охмелев, начал говорить, что братья Трейгеры с семьями давно эвакуировались, прихватив с собой добро, а он не верит, чтобы немцы что-то плохое сделали евреям – это пропаганда. Были немцы в 18-м в Одессе, ну и что? Что они сделали простым евреям – ничего. Он сам работал у немца, сытно кормили и еще денег давали. Дорке противно было слушать отца, а рассказывать ему, что она насмотрелась в окопах, о страданиях раненых, трупах не хотелось – все равно не поверит. «Иди спать, папа».

Город притих, словно вымер. Немцы входили, практиче-

ски не встречая никакого сопротивления, кое-где, правда, постреливало, но тут же умолкало. Казалась, такой массе танков, машин, мотоциклов, людей негде разместиться, однако все вмещалось и вмещалось. На перекрестках появились патрули. Это были румыны, немцы объезжали их с проверками. Дворы оцеплялись, целыми кварталами, каждую квартиру обходили, подсчитывали людей, заполняли карточки. На ворота наклеивали плакаты – распоряжения на немецком и русском языках. Моисей уже несколько раз бегал читать, спорил с соседями, однажды вернулся и с порога: «Давайте переезжать, хата Люси Коган свободна, сколько там комнат, всем хватит. Ну что сидите?» Глаза его лихорадочно блестели, но переселяться ни у кого желания не было. Лицо Ципы осунулось, она сидела молча, не реагируя на слова мужа, ноги широко расставлены, в руках держала новорожденную, из сорочки свисала большая мягкая грудь, младенец сосал ее. Маленький рот девочки не успевал заглатывать все молоко, и оно стекало по Ципиной рубашке, «Ух, лентяйского рода, сразу видать», – добродушно улыбаясь и подкладывая тряпочку под щечку дочки, выговаривала мать. Дорка варила в казане кашу, медленно помешивая. Она думала об отце, он понял все, поэтому и заговорил о переезде. Отдельной строкой в распоряжении было написано, что лица «еврейской национальности» будут переселены в гетто, за неповиновение – расстрел.

Моисей снова побежал на улицу, его магнитом тянуло

к этому распоряжению, он никак не мог поверить. Через несколько дней во дворе объявились немцы, с ними полицей с повязкой на руке. Прикладами они стучали в квартиру Колесниченко. Долго никто не открывал. Они выломали дверь, выволокли старого коммуниста Ивана Колесниченко, невестку и двух внуков. Весь двор в ужасе смотрел на приговоренных. Дед обнял детей, их мать старалась что-то объяснить, опустила на колени, молилась, кричала. Офицер взмахнул рукой, раздались выстрелы, все разом упали, как в кино. Тишина, только каркнула ворона и взлетела стайка воробьев. Солнце стояло в зените белесое от зноя, небо равнодушно гнало мелкие облачка. Немцы укатили, народ разошелся в оцепенении, только старый коммунист Колесниченко остался лежать с невесткой и любимыми мальчишками. Еще одна квартира освободилась...

Семью нужно было кормить. Дорка видела – на отца никакой надежды. Он целыми днями сидел во дворе на ящике и что-то бубнил себе под нос, как чокнутый. Дорка с сестрами пошла в город, может удастся что-нибудь купить съестного. На Степовой магазины позакрывались, но Привоз открыт, толпился разный люд. Боясь потеряться в толкучке, девочки держались за руки. С трудом им удалось купить полмешка прелой гречки, они двинулись на выход, отошли, наверное, квартала на два, как подъехали грузовики с немцами, оцепили базар, раздались выстрелы, крики. Дорка вся побледнела от испуга, поняла, что вместе с сестрами была на волоске

от смерти. Одной рукой она поддерживала мешок, другой – живот. Долго, с оглядкой, знакомыми дворами пробирались домой, не переводя дыхание, так и вломились в дверь. «Шо вы так запыхались, хто за вами гнався?» Дорка не знала, что ответить отцу Мать бросилась к девочкам, они, задыхаясь, рассказывали, как едва не угодили в облаву. «А чего вас туда потянуло?» – не унимался отец. «За ткнись, идиет», – Ципа все чаще теперь так его обзывала. Как она могла связать свою жизнь с этим никчемным человеком. Но отцу было все равно, он хотел кушать: «А когда жрать будем?»

Гречку принесли сырой, ее нужно было обжарить, мама стояла над казаном, мешала крупу, и слезы крупными каплями падали в чугунок. Вечером в окошко постучали, заглянула соседка, она тоже недавно родила, но у нее не было молока, и она умоляла Циггу подкармливать ее ребенка. Ципа согласилась, ночью принесли малютку и мешок пшеницы. Во дворе спилили старую акацию, пристанище воробьев, с крыш сараев и с подвалов исчезли кошки; стая собак на пустыре исчезла еще летом, теперь на этом месте стояли силки, в которые попадали птицы. Еврейские семьи ждали, когда за ними придут и начнут переселять в гетто. Мать со старшими девочками сшили каждому заплечный мешок. В них уложили самое необходимое – мыло, полотенце, кружку, ложку, не забыли про метрики.

Румыны вместе с полицаем пришли во двор дождливым утром. Охрипшим голосом полицай зачитал приказ: «Всем

лицам еврейской национальности незамедлительно покинуть свои дома, за непослушание будут расстреляны. Хайль Гитлер!» Целый день простояли под осенним холодным дождем и ждали отправки. Никто за ними не приходил. Старуха Блюм плюнула на все и вернулась в свою каморку, затопила печку, закрыла задвижку дымохода и уснула. Навсегда. Поздно вечером нагрянули с проверкой. Не досчитавшись старухи Блюм, пошли за ней. Ночью повалил снег, стало еще холоднее, люди сидели на мокрой земле, стараясь тесно прижаться друг к другу чтобы согреться. Мимо проезжали машины, редкие прохожие смотрели на несчастных, как на прокаженных, боясь заразиться.

Ципа шептала Дорке что-то на ухо, та отнекивалась, но мать убеждала ее. Хотелось есть, но пищи не было никакой. Во двор ходили в уборную и воды из крана попить. Дорка тоже ходила, в животе шевелился ребенок, он тоже кушать просит, ему холодно, вон как бьется. Отец и дети спали, мать толкнула Дорку – вставай, беги. Дорка машинально поднялась, накрыла мать своим одеялом и тихо растворилась в ночи. Никто ее не окликнул, патрули грелись в будках; она медленно шла по ночным улицам, с рассветом почти дошла, но услышала шум мотора и спряталась в развалинах разбомбленного дома. Уже было совсем светло, в руинах Дорка отыскала место, куда не капал дождь, и там, под уцелевшими ступеньками, забылась. Целый день с нетерпением дожидалась темноты, чтобы выползти из своего укрытия и идти дальше.

Ее бил сильный озноб, когда наконец она увидела дом све-крови. Ключи от квартиры, комнаты у нее были, только вот новые ворота закрыты. Она завернула за угол посмотреть, светятся ли окна. Они были темными, как все окна на улице. «И вдруг вижу- вы идете. Вот и все».

Нина Андреевна выслушала Дорку не шевелясь. Руки, ноги онемели, Дорка стала растирать ее всю, целовать в лицо, плечи, уложила на диван, присела рядышком.

Заканчивался январь, хозяин Нины Андреевны стал пораньше отпускать ее домой, к нему в кабинет все чаще стала заглядывать одна из рабочих – Люська. Нина Андреевна утром первым делом убирала следы их «вечерней работы».

Вот и сегодня он отпустил ее пораньше. Нина Андреевна бодро шла по улице, согреваясь быстрым шагом, зима в Одессе была действительно лютой. Открылось много новых магазинов, небольших пекарней, все частное, как при НЭПе, витрины светились празднично, всюду какие-то конторы, заметно прибавилось комиссионки и автомобилей. И туристов. Они разгуливали по у лицам, нарядные, дамы в шубках, мужчины в длинных пальто, веселились, распивали шампанское, войны как будто и не было. Нина Андреевна одну такую гулящую компанию заприметила на бульваре, когда забежала в пекарню купить хлеба. Схватила свежую белую буханку – и мигом домой. Усилившийся с моря ветер толкал ее в спину. Открыла дверь в комнату, увидела Дорку сидящую на полу на клеенке в расстегнутом халате. Во рту она держала скру-

ченное вафельное полотенце. Вдруг она вся напряглась, лицо покраснелось, на шее вздулись жилы, и только тихое мычание в полотенце слышала Нина Андреевна.

Она закрыла за собой дверь на щеколду схватила подушку и подложила Дорке под спину. Схватка прошла, Дорка выплюнула полотенце, попросила воды, жадно глотнула. Дорка умница, все приготовила для родов, удобно разложила вокруг себя.

– Все будет хорошо, – Нина Андреевна взяла Доркину руку и прижала к груди, – воды отошли, я с тобой, потерпи еще немножко.

Дорка опять закрутила полотенце, прикусила его зубами. Нина Андреевна показала ей большой палец – держись! Дорка руками обхватила ноги, свекровь подсунула ей чистую пеленку.

– Тужься, тужься, молодчина! – Нина Андреевна, как могла, подбадривала невестку. Дорка разжала руки, откинулась назад, казалось, это никогда не кончится. Обе женщины лежали на полу, отдыхали. Вдруг Нина Андреевна вспомнила, что нужно нажимать на живот. Нина Андреевна толкала его вниз, вниз, потом рукой нащупала появившуюся головку, подставила обе руки.

– Давай, родная, давай! Все! – вытянув ребенка на простынку, она, как заправский акушер, перерезала пуповину, перевязала, замазала зеленкой, перевернула на животик, открыла ротик, бинтиком обтерла язычок и беззубые десенки.

Опять перевернула, и вдруг он как заорет. От испуга Нина Андреевна чуть не выронила младенца. Обтерла грудь Дорке и сунула ему в рот сосок. Дорка улыбалась, поднялась с пола, легла с сыном на кровать и мгновенно уснула. Нина Андреевна все вымыла, перестирала, сварила на кухне суп и тоже улеглась. У нее уже не было сил подумать, что дальше будет, завтра, послезавтра. Небо очистилось от об лаков, просветлело, месяц заглядывал в окно. «Вот я и бабушка», – вздохнула она и уснула.

Дни летели быстро, хлопотно, одна радость – Вовчик. Женщины могли часами смотреть, как он спит, морщится, зевает, смотрит. Дорка обвязалась большим платком и засовывала туда сына. Она так боялась, что он заплачет, и старалась в отсутствие Нины Андреевны сидеть с ним в печке. Женщины растирали запаренный мак и поили Вовчика сладенькой водичкой, чтобы подольше спал.

Наступила весна, зацвели деревья. Когда малыш крепко засыпал, Дорка стояла с ним у открытой форточки. Боязно было. Только в печке она чувствовала себя в безопасности. Нина Андреевна старалась поменьше рассказывать, что происходит в городе, не хотела ее огорчать. Туристский бум еще сильнее охватил Одессу. Только теперь сюда все больше стекались коммерсанты, они скупали дома, дачи. Весь центр был в шикарных дорогих ресторанах. Кутили в основном румыны. Пестро разодетые, малообразованные, они корчили из себя богачей. Нина Андреевна, торопясь на работу, стара-

лась обходить Дерibasовскую, чтобы лишний раз не видеть эту развалившуюся на стульях праздную публику. Для хозяйина она теперь готовила отчет на имя губернатора «Транснистрии», как теперь называлась Одесская область.

Сегодня утром Нина Андреевна зашла в кабинет к хозяину и обмерла: на стене висели три портрета в одинаковых рамах – Гитлера, короля Михая и губернатора «Транснистрии» Александру. Она узнала рамы, в них раньше были портреты Ленина, Сталина и Карла Маркса, рамы пылились в цеху за шкафом с инструментом. В порту случился пожар. За ночь стены домов обклеивали листовками с призывом оказывать сопротивление оккупантов. Немцев почти не осталось в городе, патрулировали везде только румыны. Молодых солдат среди них уже не было, в основном мужчины средних лет по всему: неопрятному виду взгляду, рукам, чувствовалось – крестьяне.

Облавы стали реже, у кого в порядке паспорт, отпускали, иногда даже отдавали честь. В постоянных заботах пролетели лето, осень. Нина Андреевна радовалась быстрому бегу времени. Мальчик рос, правда, был слабенький, хватало силенок только сосать мамину грудь. Но грудь была почти пустой. Дорка плохо ела, стала плохо видеть.

43-й год даже не отметили, одна радость – у Вовчика прорезались сразу два нижних зубика и выросли на голове черненькие волосики, мягкие, как пух. От Ивана Ивановича Нина Андреевна услышала, что у соседей угнали в Германию

обеих девочек-погодок.

– Да, я что-то давно никого не вижу.

– Так они перебрались к родителям на Ольшевскую. А старушки каждый день надевают шляпки и идут на Дерibasовскую, попрошайничают. По-французски песенки поют. Им дают, жалеют бабушек.

– У каждого свое горе, – вырвалось у Нины Андреевны. Она спохватилась, но Иван Иванович, опустив голову, подержал ее:

– Да, да, у каждого свое.

Зима опять выдалась суровой, снежной, море замерзло до самого горизонта. Приходилось каждый вечер протапливать печку. Хозяин отправил Нине Андреевне целую машину деревянных обрезков, отобрали самые удобные для топки, ни пилить, ни колоть не надо было. Их сложили в сарае, и Нина Андреевна до работы заносила чурки в комнату, чтобы к ночи оттаяли. Какое счастье, что тогда разобрали дымоход. Дорка целый день сидела там, прижавшись спиной к теплым кирпичам. Вовчик лежал в платке под грудью, играл ручками с деревянными бусами, которые она вешала себе на шею вместо погремушки. Платок натер шею в кровь, она его развязала, положила Вовчика в корыто, сама за дремала. Проснулась – ни платка, ни сына, опустила руку в корыто, и в нем его нет. Пошаркала ногами, вот он, у нее под коленками, выполз сам. Молодец, сынок, взрослеет.

Нина Андреевна температурила. Хозяин велел идти до-

мой. Она не спешила, она специально уходила, чтобы не заразить Дорку с малышом, он и так все время сопел, носик заложен, тяжело дышит Разболелись все. Вовчик в подвязанной торбе лежать не хотел, царапался, капризничал. Дорка плакала, засовывала его обратно, он опять начинал орать, тогда она брала сына на руки. Полностью выпрямиться не получалось, приходилось часами держать на полусогнутых ногах. Ноги немели, набухали вены. Нина Андреевна продолжала хмыкать носом, чихала, но на улицу выходить все равно нужно было, хотя бы через день. Хлеб, дрова, вода. Хорошо, что кое-что из еды в доме припасла.

Весна нагрянула неожиданно, дружно, солнце расправились с зимой на удивление быстро. Заголосили птицы. На Соборной из репродуктора гремели бравурные немецкие марши; пламенные речи призывали население помогать «великой Германии». Однако чувствовалось, что дела у немцев не ахти. Вести с фронта просачивались радостные, Красная Армия наступала. Все больницы, дома отдыха, санатории были забиты ранеными, и они все прибывали и прибывали. Ресторанчики позакрывались, праздная публика испарилась, смело и туристов, приезжавших скупить что-нибудь по дешевке, а потом продать в Румынии. В конце марта в городе объявились итальянские части. Итальянцев доставляли пароходами, а затем железной дорогой отправляли дальше на фронт.

Каждый день Нина Андреевна приходила с работы с хорошими новостями. Хозяин часто куда-то уезжал, его не бы-

ло целыми неделями, и тогда все дела он доверял ей. Нине Андреевне это не нравилось, она боялась, что в один прекрасный день хозяин исчезнет насовсем. Но пока он все-таки возвращался, сразу начинал кричать, топтать ногой, наводил порядок, потом выпивал чарку другую, успокаивался и приговаривал: «Та будь шо будет».

Опять потянулись облака, накрапывали нудные осенние дожди, темень. Витрины уже не светились, не мылись стекла, магазины были в табличках – «Сдается» или «Продается». Под их двери ветер гнал опавшие листья и мусор, однако никто его не убирал. Нина Андреевна моталась по базарам, высматривала подарки Вовчику на день рождения, тщательно прятала, чтобы никто не видел, особенно Иван Иванович. Шерстяной костюмчик и шапочка были как раз, первые ботиночки чуть великоваты, ничего, на вырост. Малыш еще не ходил, но ползал бойко. Он неожиданно мог закричать, Дорка его еле догоняла. Женщины совсем потеряли покой, а вдруг шорох и детский голос кто услышит, хотя в квартире кроме старушек никого не было, да и они длинными вечерам сидели у себя, лишь изредка на кухню наведывались. Дорка стала еще хуже видеть, жмурилась от света. Нина Андреевна понимала – болезнь от вечного страха.

Одесситы, встречаясь, взглядами как бы приветствовали друг друга, скоро конец оккупантам. Все ближе слышалась фронтовая канонада, молва доносила о партизанах из катакомб, замуровать их там немцам не удалось, участились слу-

чай саботажа, взрывы в порту и на железной дороге. Немцы были в ярости, людей опять стали хватать на улицах, без разбора, всех подряд. Город заметно опустел. Бесчинствовали мародеры, власовцы, румыны. Иван Иванович круглыми сутками держал ворота запертыми.

Хозяин теперь платил Нине Андреевне только оккупационными марками, она старалась их сразу тратить, почти все уходило на продукты. Но вот и он пропал, лес на пилораму больше не поступал, рабочим делать было нечего, они приходили с единственной целью – что-то украсть. Нина Андреевна не сопротивлялась, сама же ничего не трогала. За неделю растащили все, и она, прихватив документацию, тоже перестала появляться в цеху. Войска наступали стремительно, бои шли уже в городе. От взрывов ворота слетели с петель, Иван Иванович не поправлял, он сам все реже выходил на улицу. Вдруг со стороны спуска Короленко раздался мощный гул. Дом дрожал, и печка дрожала, казалось, вот-вот все завалится и их придавит кирпичами. Нина Андреевна догадалась – танки. Они шли и шли мимо их дома. Дорка отчетливо слышала раскатистое «Ура!», и ей почудилось, что сейчас дверь откроется и зайдет их с Ниной Андреевной Витенька, обнимет, увидит сына. Следующим утром все стихло. Нина Андреевна решила сходить к дворнику. Дверь в квартиру была открыта, за столом сидели хозяин с женой, а на самодельном высоком стульчике мальчик, на вид лет двенадцати.

– Вот, Нина Андреевна, сохранили мы сына, он с рождения у нас парализованный, – Иван Иванович тяжело вздохнул, голос его задрожал, слезы текли по впалым щекам. Дворницкую жену бил озноб, мальчик, улыбаясь, доверчиво смотрел на Нину Андреевну и тянул к ней свои исхудавшие ручонки. Из его рта текли слюни.

Нина Андреевна, глядя на больного мальчугана, стояла как вкопанная, слова не могла выдать, а Иван Иванович все причитал:

– Я ничего никому плохого не сделал.

– Да, я знаю, я тоже сохранила свою невестку и внука, сегодня они выйдут на улицу. Два года без белого света.

– Где, где? – Иван Иванович от неожиданности плюхнулся на стул.

Нина Андреевна гордо выпрямилась, повернулась и ушла. Сколько дней и ночей она ждала этого момента, сколько всего вынесла. Она торжествовала. Победа, победа, мы победили, я победила, Витенька мой победил, Дорка победила, Вовчик двухлетний победил, этот мальчик-инвалид победил!!! Она еще долго не могла успокоиться и вдруг заревела. Слезы крупным градом текли по лицу.

Иван Иванович засеменял за ней:

– Что вы такое говорите? Откуда невестка с внуком? У вас же никого не было.

Он недоверчиво посмотрел на Нину Андреевну. Она давно вызывала у дворника подозрение – все ли в порядке с го-

ловой. Бесконечные ночные стирки, ходила, как мышка, ни с кем не общалась, так, изредка, парой слов перекинется – и шмыг домой. Нина Андреевна стояла посредине комнаты, волосы ее растрепались, заплаканные глаза горели.

– Выходи, Дора, конец твоему заключению, – Нина Андреевна с силой сорвала коврик, и Иван Иванович обомлел, увидев медленно выползающую из печки Дорку.

– А где ребенок?

– Сейчас.

Дорка, как кошка, снова нырнула в кирпичный проем и аккуратно, за обе ножки, потянула Вовчика.

– В больницу их надо, немедленно, я помогу! – Нина Андреевна видела, как у дворника желваками заходило лицо. Перед ним стояла полуседая, полуслепая и полуживая женщина без возраста, с трудом она удерживала на руках худого бледного мальчика, он долго не мог раскрыть глаз, щурился, как мать. – Я счас, я счас, потерпите немного. – Иван Иванович вернулся быстро с дворовой книгой и бланками. – Счас, счас мы его регистрируем. Давайте паспорта. Как зовут, фамилия? – Иван Иванович записывал: Еремин Владимир Викторович, родился в 1942 году 26 января. Мать – Еремина Дора Моисеевна, отец – Еремин Виктор Леонидович.

Только через месяц Нина Андреевна попала с Доркой и Вовчиком в больницу, однако там не оставили, только выписали Дорке очки. Больница была переполнена ранеными. А еще через два месяца Нину Андреевну арестовали, Люсь-

ка, любовница хозяина, донесла; дворника забрали месяцем раньше.

Дорка ждала свекровь, целыми днями они с сыном сидели на скамеечке у свисающих набок ворот – Иван Иванович так и не успел поправить их. Возвратились из эвакуации соседи, заняли свои комнаты, старушек прогнали, они переселились на кухню, но и там мешали. Приходил участковый и говорил старушкам быстрее подыскивать себе другое жилье. Как два старых больных воробья с подрезанными крыльями, они молча сидели на кухне на одной табуретке, принесенной еще Ниной Андреевной. Дорка не могла это стерпеть, у нее подкашивались ноги, она вспоминала, вот так на сырой холодной земле сидели они той страшной ночью в 41-м в своем дворе, ждали отправки в гетто. Потом их всех погнали – исчезли все...

Дорка пустила пожилых женщин к себе, кое-как соорудили топчанчик. Старушки спали на нем вдвоем, валетом. Доркины уговоры, зачем мучиться, есть же свободный диван и можно отдыхать на нем, они не воспринимали. Уходили из дома рано утром, обратно очень поздно, весь день попрошайничали. Все, что добывали на «охоте», приносили в самодельно сшитых мешочках и вываливали на стол – хлеб, яйца, помидоры, кукурузу, куски сахара, яблочко. Пировали все вместе. Но однажды домой пришла только одна, другая умерла прямо на улице. Дорка запретила Екатерине Ивановне, так звали оставшуюся в живых, побираться. «Вы луч-

ше с Вовчиком посидите, а я попробую устроиться на работу». Екатерина Ивановна гуляла теперь с мальчиком, а Дорку взяли в открывшийся на их у лице большой магазин. Завмаг сжалился – взял ее к себе уборщицей. Нина Андреевна не вернулась, ее осудили за сотрудничество с немцами, за то, что не эвакуировалась, а обязана была.

Много лет спустя в поликлинике Дору окликнула регистратор – пожилая женщина.

– Еремина? Дора Моисеевна? Вашу мать, свекровь звали Нина Андреевна?

– Да, а в чем дело?

– Хочу с вами поговорить, – оглядываясь по сторонам, тихим голосом прошептала регистратор, – я Вера Константиновна. Подождите меня, я накину пальто и выйду.

У Дорки застучало сердце. Как молот. Она вышла на улицу, притулилась к стене – от волнения закружилась голова. Она мучительно думала, что может ей сказать эта женщина. Муж пропал без вести, она несколько раз писала запросы, но получала один и тот же стандартный ответ. На запрос о свекрови ей ответили, что Нина Андреевна осуждена на десять лет без права переписки...

– Давайте отойдем в сторону, – предложила Вера Константиновна и поведала Дорке, что в молодости работала вместе с Ниночкой на телефонной станции, они дружили, но за время войны ни разу не виделись. Судьба столкнула их в пересыльной тюрьме, обе получили по десять лет и ехали, голод-

ные, без воды, в одном товарном промерзшем вагоне целую неделю. Нина Андреевна была сильно простужена, без теплой одежды она не выдержала и скончалась прямо в товарняке. На каком-то полустанке ее тело сбросили в кювет и спустили собак. От нее ничего не осталось, овчарок погрузили и двинулись дальше. Охранники сэкономили тушонку...

Веру Константиновну реабилитировали, она вернулась в Одессу, обитает в маленькой комнатухе, близких никого, поэтому работает с людьми. Легче... А с Ниночкой они условились, кто выживет, тот обязательно отыщет кого-нибудь из родных и расскажет Дорка не плакала, шла медленно, часто останавливалась и все время приговаривала: «Мама, мама, мамочка». Ей было уже известно, что всю ее семью немцы уничтожили, только где лежат они и похоронены ли по-людски, никто не ведает.

Не знала Дора лишь про то, что Ципа бросила свою последнюю новорожденную девочку, которую и назвать-то не успела, стоящим у обочины женщинам, когда их колонну вели на Пересыпь. Они поймали этот сверток, она это точно видела. Мать пыталась и других детей вытолкнуть, румын, сопровождавший колонну, даже специально отошел в сторону, отвернулся. Но дети плакали и еще крепче хватались ручонками за Ципину юбку.

Дорка заторопилась домой. Она шла навстречу своей новой нелегкой жизни. Ее ждал сын и старушка, которую Вовчик называл бабушкой.

Сын героя

Юноша Ерёмин Владимир Викторович терпеть не мог, когда близкие называли его Вовчиком. Теперь, повзрослев, он представлялся новым знакомым только Владом, школьные же друзья по прежнему звали его Ерёма. Он никогда не приглашал своих знакомых к себе домой, никогда никого не знакомил с матерью. Все знали, что отец у него погиб, а мать где-то работает. Уже мало кто в магазине, где работала Дорка, мог припомнить, как выглядит её сын и что он из себя в настоящее время представляет.

Дома с матерью он почти не общался. Утром рано уйдёт, вечером поздно вернётся. Дорка только после его возвращения переворачивалась на другой бок и засыпала. Единственным человеком, кому она могла довериться и признаться во всём, была её послевоенная подруга Надежда. Как они в те тяжёлые годы подружились, так, считай, и породнились на всю оставшуюся. Но Дорка всё же ревновала Надьку к неизвестно откуда взявшейся племяннице и всему этому бесконечному кодлу. К сожалению, Надька так далеко жила, что Дорка только изредка к ней выбиралась. И Надежда Ивановна, как уволилась из магазина, со своим тромбофлебитом так мучилась, что ни о каких поездках даже не мечтала.

Влияния на Вовчика Надежда Ивановна не имела тоже никакого. Сам Влад иначе как предательницей тетю Надю не

считал. Променяла она его на какую-то деревенскую девку и её семейство и носится с ними, как с писаной торбой. Ходить к ней в гости, даже на день рождения, наотрез отказался. Тем более что день рождения приходится на 1 января. Мать всегда особенно готовилась к этому дню. И, на всякий случай, спрашивала сына: «Забыла, сколько лет твоей тётке сегодня исполняется?» На что получала всегда один и тот же ответ: «На календаре посмотри».

Ну да, ну да, только посмеивалась Дорка, всё забываю, что она ровесница века. Хитрила, конечно, спрашивая, сколько Надьке стукнуло, но так хоть с сыном словечком можно переброситься, Глядишь, ещё какой разговор завяжется. Не завязывался; Вовчик грубо, как топором колют дрова, обрывал мать: отстань, у тебя что, других дел нет? Или еще больнее: и ты ещё со своими двадцатью копейками лезешь...

Нередко понукал Дорку и так: разбираешься, как свинья в апельсинах, помолчала бы лучше.

Для нее это было обиднее всего. Дорка украдкой смотрела на сына и не верила: неужели это её Вовчик. Он вставал рано, без будильника, открывал настежь окно, брал в руки гантели и делал зарядку. Потом плескался в ванной под холодным душем, тщательно брился у окна, любуясь на себя в зеркальце, аккуратно подстригая на голове волосы и колдуя над усиками.

Все его движения были чёткими, выверенными до секунды. Съедал бутерброд или творог, запивал кофе и, тихо при-

крыв дверь, уходил. Дорка, за своей ширмочкой боясь шевельнуться, ждала, когда за ним закроется дверь, только тогда и вставала, одевалась и шла в магазин на работу. Она давно поняла, откуда ветер дует. Сама же его чуть ли на аркане потянула в гости к этой реабилитированной старухе, бывшей подружке своей свекрови Вере Константиновне. Вот та и наплела её Вовчику чёрт-те чего. Сама же её свекровь, Нина Андреевна, никогда ни словом, ни полсловом не обмолвилась с невесткой ни о прошлом, ни о настоящем. Так что судить Дорка, что правда, а что неправда, а что вообще вымысел, не могла. Только сердцем чуяла: вот здесь, в этих отношениях со старухой, собака зарыта. А с другой стороны, Вовчик вроде бы менялся в лучшую сторону. Уже не так откровенно грубил, наоборот, можно сказать, даже вежливо начал к матери обращаться. Но Дорка сердцем чувствовала, что это наиграно. Она смирилась, уже привыкла – что дома она никто, что на работе. Ходит сын к старухе, пускай ходит, хоть пьяным оттуда не возвращается. И то слава богу.

Что мог Влад, Владимир Викторович Ерёмин, узнать от Веры Константиновны? Что он внук Владимира Николаевича Ерёмина, да, того, того самого капитана, которого красно-рожие пьяные морячки с другими царскими офицерами навечно оставили стоять на дне Севастопольской бухты. А сына его Виктора в 41-м отправили с мосинской винтовочкой в окопчик Одессу защищать. Через столько лет случайно на

окопчик наткнулись «пионеры», на белые косточки, которые прямо сверху торчали. Благодаря «пионерам» их реабилитировали, не сдались молоденькие хлопчики в плен, насмерть стояли, обороняя город от врага. Не дождалась подмоги, а ведь им, отправляя на верную гибель, обещали: армия перегруппируется и придет им на выручку.

Правда восторжествовала! Отблагодарили, вручили медальку вдове, честь оказали, что еще на до? А то, что после войны Дорка с сыном жили впроголодь, так это же не их дело. Вера Константиновна вышла в центр «салона» и поклонилась низко, в самый пол перед Владом.

– Ты, сынок, никогда им не прощай – ни отца своего из окопчика, ни деда капитана, его с булыжником на шее столкнули на дно морское, ни бабушки, моей подружки, полуживой, брошенной собакам на прокорм. Ниночку Ерёмину никогда им не прощу, прекраснее человека в жизни не встречала. Я тебе, сынок, обязательно расскажу о них. Их роман начался со шляпки, самой простой, правда, парижской шляпки. Помянем с тобой, Влад, их светлую память.

Старушка достала из буфета две хрустальные рюмки, налила молдавского коньяка, отпила немного. Влад отказался от коньяка: я лучше крепкого чаю.

– Не тужи, хлопчик, и не верь во все эти бредни: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Они там, кто в начальстве, уже сколько лет живут прекрасно в этом коммунизме. Все им на блюдечке преподно-

сят, только каемочка не синяя, а красная. Народ корячится, с ложечки их кормит. Коммуниздят, как хотят, не стесняясь. В партию эту все прощелыги прут, как завмаг у твоей мамы. Не будешь в ней – фигу теплое местечко, – Ледовитый океан. В начальство, самое мелкое, не пролезешь – горлышко узкое. Ни стыда у них, ни совести, на остальных, кто не в ней, наплевать. Всех коммуниздить принять не могут – не резиновая, так устанавливают нормативы. Этих брать, этих не брать. А вдруг примут, не дай бог, не тех, и эти «не те» их же и выбросят. Нет, братцы, тащите рекомендации от проверенных коммуниздильщиков.

Влад всё понимал, о чем говорит Вера Константиновна, какая такая партия, почему в ней, как выражалась старушка, одни воры и негодяи, и народ заставляют ее поддерживать. Он хорошо запомнил, как мальчишкой ходил с матерью в их школу, она в тот день была украшена, играла музыка, дежурили какие-то люди с красными повязками на руках, кругом милиция, даже их участкового он там видел. Взрослые подходили к длинному столу с буквенными табличками, им совали какие-то бумажки, они опускали их в ящики, которые стояли посреди спортивного зала. К то-то сначала скрывался за шторкой в кабинках, а потом бросал в ящик. Дорка даже не заглядывала в эти бумажки, просовывала их с трудом в щель ящика и сразу торопилась на выход. Вовчик дергал ее за рукав, канючил у Дорки купить ему пирожное или бутерброд с колбасой, раньше такие вкусные он никогда не ел.

– Да, Влад, все на выборы ходили и тебя брали. Теперь сам ходишь, попробуй не пойди. Ведь какой праздник устраивается – голосовать за эту партию. Людей обещаниями заманивают – скоро лучше заживете, светлое будущее вас ждет – завлекают такими вот буфетами. Почти сто процентов населения должно прийти. Все сто вроде бы нескромно. Кто не может сам, заболел или немощный, еле ноги волочит, тем урну таскают, лишь бы проголосовали. По поездам с теми урнами шастают, вертолёты, самолёты по бескрайним сибирским просторам гоняют. Каждый час сводка по радио – сколько уже охвачено. Народу косточку бросили: выходной 5 декабря, на День Конституции. Месяцами магазины пусты, хоть шаром покати, а к 5 декабря – изобилие, на те вам, народ, к празднику, гуляйте. По фабрикам и заводам заказы раскидывали, рабочим за их же собственные деньги продавали. А то ещё вдруг разозлится голодный рабочий класс и начнёт жаловаться.

Только вот куда жаловаться, господа? В газеты, на радио? Так они же все той партии служат, коммуниздильщикам. Везде одно и то же: распинаются передовики производства, одни успехи вокруг, рапорты о выполненных и перевыполненных планах. Целый год ордена и медали штампуют, награды за доблестный труд. Какой же это план, господа, если его можно перевыполнить на двести процентов? Вранье, сплошной обман. Правда – что на полках пусто и в дом купить нечего, все жуткий дефицит, без блата никуда.

А коммуняки, что наверху, живут припеваючи, о хлебе насущном не думают У них свои магазины. Ублюдки, ненавижу их. Приличные, конечно, есть даже в этой партии, нельзя всех черной краской мазать, но они рядовые, на задворках, погоду не делают.

Вера Константиновна никак не могла уговориться. Видно, не было никого или просто опасалась, кому все это можно вот так, откровенно высказать, чтобы не заподозрили в лютой ненависти к власти этой партии. Влад не выдаст, в крайнем случае, скажет, что выжившая из ума старуха несет всякую чушь, ей в психушку дорога. В больнице, что рядом с их домом, отделение есть, пусть туда везут.

– Ой, чуть не забыла, – Вера Константиновна почему-то понизила голос или просто устала говорить, – этой партии нужно ещё содержать братские народы, а они, как снег на голову, всё освобождаются и освобождаются от рабства проклятых капиталистов. Надо их защитить, помочь, они тоже кушать очень хотят. Собственный народ побоку, а этим всё подавай, а то, чего доброго, опять назад к капиталистам попросятся. Есть такая добренькая страна на белом свете, где так вольно дышит человек: Союз Советских Социалистических Республик.

Древо жизни

Влад после этих посиделок плёлся домой, как в тумане. В голове каша, разобраться бы, что к чему, так он особо не интересуется. Однажды остановился у какого-то дерева и, что есть силы, стал бить его по стволу кулаком. Пока рука не онемела и не начала сочиться кровь. Потом обнимал ни за что пострадавшее дерево и шептал: прости, дружище, меня, ты ни в чём не виновато. Я знаю, ты тоже страдаешь. Люди взяли тебя молоденьким трепетным саженцем и посадили в знойном пыльном городе, оставив для жизни только этот небольшой полукруг земли. Да и землёй эту грязь назвать язык не поворачивается. Кто хочет, мочится ночью на твоё тело, кто хочет, режет ножом твою кожу, выписывая на тебе своё дурацкое имя в плюсе с такой же набитой дурой. Твоя кора вся в погашенных окурках. Ты болеешь, твои ветви жестокие руки безжалостно обрезают, калечат каждую осень, чтобы они не мешали проводам и домам. Ты усыпаешь, прощаясь со своей тяжелой жизнью, думая, что навсегда.

Но приходит опять весна, эта нежная, всегда юная обманщица. Поливает, моет твои корявые перебитые ветви, корни наполняет жизненной влагой. Засохшие корни оттаивают, нехотя, не спеша, не веря в своё пробуждение, как тяжелобольные, потихонечку начинают сосать эту живительную влагу. Солнышко обогревает твои подмёрзшие почки,

и они, наперекор всему начинают набухать, как груди у забеременевших женщин. Вот, вот ещё немного – и ты опять поверишь, что тебя ждёт праздник жизни, и твои почки лопаются, рождаются новые нежные листочки; они выползают из почек, как из материнского чрева, на белый свет и тянутся к солнцу, как всё живое, молодое. Скажи, дерево, ответь мне: ради чего ты, старое трухлявое бревно, которое всё равно, рано или поздно, спилят просыпаешься каждой весной? И возрождаешься вновь и вновь, чтобы дарить жизнь всем этим неблагодарным тварям, которые осенью улетят в далёкие тёплые края, бросят тебя, старика, помирать одиноко зимой, высосав все твои соки, как пиявки. Зачем тебе всё это, трухлявое бревно? Зачем?

Влад устало сел поддерево, облокотясь спиной на его шершавый ствол. В своих размышлениях он не заметил, что небо посветлело. Первые солнечные лучи уже обласкали верхнюю крону. Птицы проснулись, дружно хором затрещали, подняв возню. Дерево вздрогнуло, встрепенулось, листочки звонко задрожали. Поживём ещё, а? Влад поднялся, снова прижался к стволу лицом и увидел цепочку муравьев, направляющихся по расщелинам коры за добычей, за нектаром, чтобы кормить где-то под землёй свою королеву – здоровенную муравью-матку и многомиллионную родню. Я понял, дружище, я всё понял. Ты живёшь ради всей этой оравы, ты их дом и кров. И ты признателен людям, что они определили для тебя эту благородную на земле миссию. И ты вечно будешь

прощать людям всё во имя этой цели, ведь ради нее ты рождено само.

А я, Влад Еремин, ради чего рождён я? Все мои близкие ушли из этой жизни, загубленные непонятно за что. Вера Константиновна открыла мне глаза, хотя так, до конца мне еще не все ясно. Для чего меня оставили жить на этой земле? Ведь для чего-то встретился мой отец с Доркой? Для чего-то бабка моя спасла меня. Какую миссию в этом мире мне уготовили? Вот бы знать. Неужели только быть удобрением? Нет! Ни за что. Удобрением я не стану, без меня хватает говна на этой земле. Ну, я пошёл, дружище. Прощай!

Общаясь постоянно со старухой и её друзьями, он понял: чтобы что-то из себя представлять, нужно очень много знать, и чем больше ты знаешь, тем интереснее жить. Книжки читать – такая же работа, только более сложная, чем грузить ящики на заводе. Неужели можно знать больше, чем приятель Веры Константиновны, Яков Михайлович? Столько лет отсидел по сталинским лагерям, полжизни, а какая память! Какая тяга к жизни! Эти старики даже не двужилые – они, как морёные дубы, вечные. Вон какой любознательный внук Якова Михайловича, Серж. Влада потянуло к нему, как магнитом. Но у Сержика была возлюбленная, и он большую часть времени, естественно, посвящал ей. Иногда, если девушка уезжала с родителями или они ссорились, такое тоже имело место быть, наступал час Влада. Тогда они на целый день уезжали подальше из города – или на Каролино-Бугаз, или на Днестр.

А то вообще подавались на лиманы: на Белгород-Днестровский, Хаджибеевский или Куяльницкий.

Возвращались довольные, обгоревшие, уставшие, за то с рыбой. Молодые люди развлекались на полную катушку. Куда только их не забрасывала судьба в этих загулах. Можно, конечно, всю жизнь прожить, идя по чистым, светлым и красивым улицам Одессы, никуда не сворачивая. Но стоит только чуть-чуть соблазниться и свернуть в сторону, в какой-нибудь тенистый проулочек, спуститься с приятелями в какой-нибудь подвальчик в картишки перебраться, так и получишь полное представление о жизни и нравах этой жемчужины у моря. Разношёрстными компашками, где можно было перекантоваться, кишит вся Одесса, как бездомная кошка блохами. В этих компаниях, на самом горьковском дне Влада всегда с удовольствием встречали, слушали его анекдоты, песни, байки. Девушки сами вешались ему на шею. Всё как в песне: «... Там собиралась компания блатная, там были девочки: Маруся, Роза, Рая и с ними Костя, Костя шмаровоз».

Уходил Влад всегда не прощаясь, по-английски, шепча девушке, что на минуточку, и пропадал до следующего загула. Это не были бордели в прямом смысле слова, за любовь здесь не платили, просто бросали деньги на стол, кто сколько может, и начинался загул с выпивоном и закуской и прочими радостями жизни – всё от обоюдных желаний. Если ты был на мели, тебя тоже принимали как родного: а как же, это же

Одесса. Девки сами выскочат, заработают ради такого хлопца. Он же с ними говорит по-человечески, поёт для них, даже стихи читает. Да какие стихи! Девушки сдержать слёз не могут, размазывают по щекам чёрную тушь, бегут умываться, и их лица, отмытые от марафета, выглядят невинно, по-девичьи. Они искренне вздыхают, стараясь прижаться хоть чуточку к этому богу в узких штанах-дудочках, снизошедшему в их грязный подвал.

По не известно кем писанному правилу, встречаясь на улице днём, эти девицы никогда не здоровались первыми. Даже сделают вид, что незнакомы с ним. Но он всем и нравился потому, что сам первый, всегда с уважением здоровался и улыбался, прикладывая руку к виску и произнося: рад видеть, до следующей встречи! И шёл дальше, не оглядываясь. Многие из этих девушек работали или учились в институтах, и, не дай бог, причислить их к проституткам, глаза выцарапают своими длиннющими ногтями. Влад даже знал в одной компании разбитную девицу работающую в райкоме комсомола. Наверное, она тоже состояла в той самой партии, которую так ненавидела Вера Константиновна. Вот на этой бл...ди уж точно негде было ставить пробу. Но видели бы вы, как она мучила восьмиклассников, поступающих в члены ВЛКСМ. Изощрялась каверзными вопросами, наслаждалась, как прыщавый юнец краснеет и бледнеет и у него шевелится от ужаса ширинка.

Влад эту комсомольскую шлюху терпеть не мог. Сразу ста-

рался смыться, если оказывался с ней в одной компании. То, что она сексотничает, никто не сомневался, однако сказать открыто ей, кто она есть, никто не решался. За глаза её все называли «коммунистическим субботником». Ребята, вырвавшись из её объятий, в один голос утверждали, что им пришлось выполнять двойную норму, как на коммунистическом субботнике. По отчётности, за этот светлый праздник труда в день рождения вождя мирового пролетариата обязательно выполнялись минимум две нормы. Но, встретив её на улице, никому бы и в голову не пришло так подумать об этой статной, красивой взрослой девушке с открытым правильным лицом. А уж когда она начинала поучительным тоном наводить моральный порядок в компании, все уссывались и старались втихаря смыться – лишь бы не заарканила. По принципу: кто не спрятался, тот не виноват.

Иногда ей все-таки удавалось заарканить какого-нибудь незнайку из южных республик. На неё быстро западали случайные приезжие, так что в простое её величественное комсомольское тело редко бывало. Поэтому, когда она появлялась незвано-негаданно с кавалером, ошутимого бегства публики не наблюдалось. Тогда сытая львица не страдала от голода и не бросалась на окружающих, а наоборот, царственные преподношения очередного кавалера ещё больше возвышали её над остальными, и вечеринка проходила благополучно.

Влад явно был не во вкусе этой девицы по многим ста-

тъям: прежде всего национальность небезупречна, во-вторых, без образования, без перспектив, а самое главное – карманчик пустой, что с него взять? Только приветливые, ни к чему не обязывающие отношения. Однажды она, хорошо набравшись, попросила провести её домой. И Владу ничего не оставалось, как покорно тащить на себе эту тяжеленную лошадь – как назло, на сонных улицах не было ни одной машины, всё как вымерло. Пьяная, пьяная, а всё выпрашивала у Влада, как ему удалось не быть ни пионером, ни комсомольцем. Такого оригинала, как Влад, она ещё не встречала.

– Теперь вот встретила, – грубовато обрезал ее Влад. Наталья, так звали эту комсомолку-вожака, долго трезвонила в дверь, наконец послышались шаги: это ты? Одна?

– Не одна! Открывай!

Влад знал, что он не оправдал её ожиданий, и теперь, когда ребята, подвыпив, обсуждали Наталью, он предпочитал отмалчиваться. О ней слагали одну легенду за другой. Что было правдой, а что выдумкой, судить Влад не брался. Однажды Влад с Сержиком рванули в Аркадию и, конечно, подкадрили приезжих девиц, успели запудрить им мозги, что они моряки, то есть водоплавающие. Девушки харьковчанки всё выпытывали, кем и куда друзья плавают. Плести языками без костей в Одессе не умеют, ну, пожалуй, самые тупые. Петь лазаря ясны соколы умели хоть куда. Выслушивать же девиц с их харьковским выговором и манерами двум одесским циникам доставляло вообще массу удовольствия. Сер-

жик рассказал для начала детский анекдотик на заданную тему: «Подходит милиционер на вокзале к чудаку и строго спрашивает: «Чому нахаркив?» – Чудак отвечает: «Там моя маты живэ». – Милиционер опять за своё: «Я пытаю, чому нахаркив?» – «Так, я ж кажу, – почти плача отвечает парень, – там маты моя живэ».

Друзья переглянулись, ещё раз посмотрели на харьковских красавиц, таких же несообразительных, как и в этом анекдоте харьковчанин. Вдруг Серж толкнул товарища: «Смотри, Наташка прет по пирсу с кавказским аборигеном. Во мужик даёт, даже на пляже в бурке и папахе». Одна из девиц, присмотревшись, на полном серьёзе лягнула: «Та не, це вин такой весь волохатый, шо впереди, шо сзаду». Друзья, не сдерживаясь, расхохотались. Южанин привлекал к себе всеобщее внимание, он выглядел настолько карикатурно, что даже плавки ярко-малинового цвета от его шерстяных кудрей топорщились.

Все отдыхающие, проходя мимо этой парочки, приостанавливались и ухмылялись, перешептывались между собой, некоторые пытались пальцами обратить на «волохатого» внимание. Но когда юноша повернулся в профиль, Серж не выдержал: «Вот это да! Монблан отдыхает!» Друзья покачивались от смеха, забыли о своих подклеенных спутницах; толкая друг друга, обсуждали параметры увиденного чуда, сравнивая и со спиленным Араратом, и с Эйфелевой башней. Так, не в силах сдержать смех, шли к трамвайной оста-

новке. «Слушай, а где наши барышни?» – спохватился Сержик. Влад хлопнул его по плечу: «Успокойся, у нас не те размеры, наверное, побежали искать соплеменников этого южанина».

Расставаясь, Серж озабоченно спросил у Влада, как он думает, Наташа вычислила их? «Коммунистический субботник» никогда ничего не прощает. Она по всем хавирам мечется со своим сачком. Кто не спрятался, того вылавливает. В общем, мы её не видели, язык на замке. Договорились?

– Мы с тобой из-за этого «коммунистического субботника» лоханулись, – продолжал Серж. – Давай вечером прошвырнёмся по Дерибасовской, кого-нибудь к ужину подцепим. Хата свободная простаивает, предки лишь завтра вернутся. Жаль этих чувих харьковских потеряли. Светка рыжая в море сама ко мне льнула, чуть ли не в плавки лезла. Никаких проблем не было бы.

– Не получится, Серж, сегодня я вечером занят Бывай, дружище!

И Влад быстро свернул в ближайший переулок. Его всегда поражал цинизм друга по отношению к девушкам и женщинам. Раньше и за ним такое водилось, но теперь что-то перевернулось внутри. Он чувствовал, что меняется, становится другим, и этих приезжих девчонок не смел бы обидеть.

Сидеть дома с матерью не хотелось. Решил вечером заглянуть к Вере Константиновне. Тянула Влада в её «салон» какая-то невероятная сила, там он ощущал себя человеком,

рядом с этими талантливыми, умными, изувеченными, но не сломленными людьми. Гордыми и целеустремлёнными, любящими жизнь и умеющими радоваться ей, как дети.

Но было ещё рано, и Влад свернул на бульвар к Потёмкинской лестнице, где, по рассказам Веры Константиновны, встретились его бабушка и дедушка. А виной этой встречи была всего-навсего женская шляпка, правда, парижская. И откуда всю жизнь потом, до самой смерти, Нина Андреевна любила смотреть на море. Влад редко когда задерживался здесь, обычно быстро сбегал вниз, перепрыгивая через ступеньку по гигантской лестнице. Сейчас же он спускался медленно, вглядываясь в склоны, заросшие деревьями, кустарниками и сорняками. Однако ни одного дерева из описанных Верой Константиновной не было и в помине, не говоря уже о самом модном и любимом одесситами кафе. Торчащие из земли сваи и куски кирпичной кладки напоминали Владу оставшиеся из-за прожитых лету стариков сгнившие корни зубов. Вообразить себе, что когда-то здесь пахло цивилизацией вместе с ароматом кофе, сейчас было невозможно. Влад ещё раз внимательно все осмотрел вокруг и решил возвращаться. Поднимаясь, он всегда пытался соревноваться с ползущим вверх фуникулёром. Ему чудилось, что именно в этом месте, на этой лестнице он когда-нибудь тоже догонит свою судьбу. И она будет светлее, чем у деда, чем у тросов из фильма «Броненосец Потемкин». Влад не часто ходил в кино, но этот фильм запомнил по Потемкинской лестнице,

где когда-то началась любовь его бабушки и дедушки.

«А все-таки что это за загадочная шляпка из Парижа, какая такая тайна скрывается за ней? – вдруг мелькнуло в голове. – Старушка упоминает об этом вскользь, в следующий раз обязательно выведу».

Лестница грез

Всю неделю Володя никак не мог успокоиться, с нетерпением ждал новой встречи с репрессированной подругой своей бабушки Верой Константиновной. И она поведала ему удивительную историю его бабушки и дедушки по отцовской линии, которая сыграла роковую роль в судьбе семьи Ереминых.

– Только ты не перебивай меня, пожалуйста, всё, что знаю, расскажу. Давно пора тебе знать правду.

– А Дорка знает? – только спросил он старушку.

– Нет, не думаю. Ниночка, хоть и хрупкая была женщина, но воля, как камень. За тебя боялась, за Дорку тоже. Пожалуй, только я одна и знала всю правду о Ниночке. Сама же я из этого сословия. Так вот, слушай. Детство твоей бабушки, сколько она себя помнила, как только вспоминала это время, было сплошным праздником. Весёлая хохотушка мама, в красивых кружевных платьях. Такой она запомнила свою мать в детстве. Всё в кружевах: кружевные юбки, лиф, шляпка, перчатки и даже зонтик. И сама она, маленькая девочка, радостно прыгающая по пирсу в ожидании подхода громадного военного корабля, обвешанного цветными флажками, и звуки гроыхающего оркестра, и все матросики, построженные на палубе, как игрушечные... Её поднимают повыше

чьи-то руки, и мать, перекрикивая толпу, кричит ей: вон видишь там на палубе – это твой папа. Помаша ему ручкой, он обязательно увидит.

И потом музыка, радостные крики, и отец, высоко подбрасывающий её над собой, над толпой, и сердце замирает от счастья. Так на руках и нёс он её, свою дочь, до самого экипажа. Попеременно целуя то её, то маму. Она устала от поцелуев и уснула. Она всё помнила, как отец с матерью гуляли с ней по Летнему саду. Как не хотела спать ложиться в белые ночи и потихоньку пробиралась на балкон, выходящий на Невку, где сидели родители и целовались. И отец притоптывал ногами, что рассердится, и относил её в кровать. А она опять и опять возвращалась на балкон.

Как радостно родители спрашивали её: кого она хочет, братика или сестричку? Она непременно отвечала: всех, всех... и братика, и сестричку, и собачку, и птичку.

Потом ей сказали, что мамочка поехала в магазин далеко-далеко покупать ей братика. Но и у бабушки и у няньки глаза были красными от слёз. А потом верну лея папа, она даже его не узнала. Он больше не смеялся, не веселился, как раньше. Правда, с ней много гулял и разговаривал, как со взрослой: «Ты у меня уже большая девочка. Наша мама очень сильно заболела и должна долго лечиться. А когда вылечится, всё будет опять так же хорошо, как и раньше. Она уехала лечиться далеко, в другую страну к тёплому морю. Мы будем писать ей письма, а она нам. Ты должна сама быст-

ро выучиться писать и читать. Ты же уже немного умеешь, вот и будешь с нашей мамочкой переписываться».

Он прижал к себе дочь и разрыдался. Ниночка, как могла, отца успокаивала, пыталась рассказать, что тоже зимой сильно простудилась, но бабушка её вылечила. Вот и мамочка тоже выздоровеет.

Отец опять ушёл в далёкое плавание, от него редко приходила почта, но когда получали письма, то целыми пачками.

Мать вернулась из-за границы, когда Ниночке исполнилось уже девять лет. Она уже понимала, что её мать серьёзно больна. Но где и когда она подхватила чахотку, осталось загадкой. Никогда больше мама не поцеловала свою единственную дочь, всегда от неё отстранялась.

Начались бесконечные поездки на лечение то на Кавказ, то в Крым, а то и вовсе в Италию. Бабушка ради дочери продала своё имение и переехала к ним в Петербург.

А потом один из лечащих врачей порекомендовал им попробовать полечиться в Одессе. Где есть прекрасная клиника и больница для больных, страдающих туберкулёзом. О врачах и местном климате и говорить нечего. В тех краях прекрасное сочетание моря и степи, и воздух подходит именно для таких больных. Бабушка тоже ухватилась за это предложение, как за последнюю соломинку. И город Одесса её устраивал во всех отношениях: во-первых, большой и культурный центр, Ниночка сможет там учиться. Во-вторых, даст бог, в знаменитой клинике вылечат её дочь.

Сначала так и получилось, матери сразу легче стало. К концу лета она поправилась, похорошела. Приезжал отец, они втроём проводили время, веселились. Но пришёл день отъезда отца, мама плакала, Ниночка, глядя на неё, тоже. Решено было до полного маминого выздоровления остаться в Одессе, не возвращаться в прогнивший сырой Петербург. Так Ниночка и осталась с мамой и бабушкой в Одессе. Думали, на один год, а оказалось на всю жизнь.

На последние средства, от продажи бабушкиного имения и квартиры в Петербурге, купили небольшую квартирку в Одессе и маленький двухэтажный домик с балконом в немецком посёлке Люстдорф, недалеко от Одессы, у самого моря. Но и это не помогло, мама так и не выздоровела, а просто медленно угасала. Редкие приезды отца, в основном на день рождения Ниночки в конце августа, ожидались ею целый год.

Как любила и ждала она отца! Прогулки с ним по городу по Приморскому бульвару, его интересные рассказы о разных странах и городах, о далёких экспедициях по морям и океанам возбуждали повзрослевшую Ниночку.

Как любила она опираться, как взрослая, на руку отца, ловя на себе удивлённые взгляды прохожих. Особенно когда засиживались в кафе у самой лестницы на Приморском бульваре, ведущей в порт. Отец больше никогда не останавливался у матери или в их городской квартире у дочери. Он всегда по приезду снимал номер в гостинице на Приморском буль-

варе, но почти ежедневно ездил с дочерью сначала к матери в Люстдорф, а потом весь вечер посвящал дочери в городе.

Так и летели год за годом. Бабушка совсем перестала приезжать, сетуя на плохое самочувствие, и внучку к себе не приглашала. Да и куда было приглашать, она хоть и жила в Москве, но вынуждена была ютиться приживалкой у богатой подруги.

Потом пришло известие и о её смерти. Нарочный привёз Ниночке красивую шкатулку от бабушки, в которой сверху лежало прощальное письмо, а под ним их последние родовые украшения, которые удалось сохранить бабушке для внучки. Не от большого ума, а, конечно, сдуру Ниночка их на дела и поехала с нянькой в Люстдорф. Мать, увидев её, сначала нахмурила брови, а потом и вовсе рухнула в обморок, вероятно, поняв, что бабушки больше нет. Ниночка никогда в жизни их больше так и не на дела, а в тяжёлые годы революции бабушкины украшения в последний раз помогли и спасли её внучку. Больше помощи в жизни ей ждать не от кого было.

В тот последний приезд отца на её день рождения мать с отцом разрешили дочери пригласить свою лучшую подругу. И Ниночка пригласила меня. Так тайна, которую Ниночка тщательно скрывала в гимназии о своей семье, раскрылась.

День был замечательный. Угощения отец заказал самое изысканное в лучшем ресторане города. Стол был накрыт прямо на пирсе под большим шатром. Гостей было немного, в основном такие же обречённые больные, с которыми за эти

годы сдружилась мать. Нас, девочек, посадили в самом конце стола почти на выходе, и чувствовалось, что отец переживает за нас, особенно если кто-то из гостей начинал кашлять.

Гости, как ни странно, много пили и ели, радовались жизни на всю катушку. Ниночка, несмотря на свой юный возраст, понимала их. «Хоть один день – да мой!» Эти слова постоянно повторяла её мать, разрывая дочери сердце.

Отец пригласил дочь и меня прогуляться вдоль берега моря, потом посадил в поджидавший экипаж и отправил с нянькой в город.

Как умерла мама, Ниночка не видела, её только в церкви подвели к закрытому гробу, и она даже не могла плакать, как другие. Только смотрела на сразу постаревшего и поседевшего отца, и сердце Ниночки сжималось от жалости. Дочь надеялась, что теперь её ссылка в Одессу наконец закончилась и отец больше с ней никогда не расстанется. И она уедет в такой желанный её сердцу Петербург. Она даже собрала все свои вещи.

Но после поминок случайно она подслушала разговор няньки с отцом. Отец объяснял ей, что она с Ниночкой останется в Одессе. Так будет всем лучше. Он не хотел травмировать дочь. Она ещё очень мала для таких потрясений. Взял клятву с няньки, что та ни при каких обстоятельствах не проболтается. Ниночка видела, как отец положил в руку няньки деньги и сжал её кулачок.

Она на всю жизнь запомнила его слова: «Я сам, когда при-

дёт время, расскажу дочери всё. Пока она ничего не должна знать. Договорились, Глаша? Вот и хорошо». Он даже поцеловал няньке руку.

Прощание с отцом тяготило обоих. Ниночка не могла смотреть в глаза отцу, который пытался объяснить дочери, что лучше ей остаться ещё на время в Одессе, пока не закончит учёбу. Убеждал девочку, что сам редко бывает в Петербурге. Она не помнила, поскольку была ещё очень маленькой, какой отвратительный там климат. Пример матери чего только стоит. Как только он получит очередной отпуск, так сразу к ней приедет.

Ниночка его совсем не слушала, только опустила голову, так и стояла на перроне, ни разу не подняв глаза на отца и на уходящий поезд.

От отца регулярно приходили письма. Ниночка месяцами их не вскрывала. Ничего нового в них всё равно не было. Она все сведения получала от маминых знакомых с Люстдорфа.

Домик, который им принадлежал, отец сразу продал после похорон матери, даже не поставив дочь в известность. Ранней весной Ниночка с нянькой поехали в Люстдорф посмотреть, что к чему на даче, были планы провести там лето. И тут обнаружилось, что в домике другие хозяева, что отец его давно продал.

На пирсе они встретили друга матери, такого же несчастного больного, немца по происхождению, высохшего до невозможности. Он признался, что очень любил её маму и

уже скоро, очень скоро с ней встретится.

Если хотите, Ниночка, сказал он, я выкуплю для вас обратно этот дом. Но Ниночка наотрез отказалась, а через месяц ей сообщили, что друг матери скончался и оставил её своей единственной наследницей. Ниночка хотела отказаться, но нянька встала перед ней на колени. Деньги, хоть и были, как оказалось, небольшими, но так необходимы юной хозяйке и её няньке.

С тех пор Ниночка постоянно приезжала в эту деревеньку, подолгу стояла на пирсе и шептала, рассказывала, делилась с морем своими радостями и печалью. Как раньше это было с мамой.

Молодость берёт своё. После занятий они гурьбой залезали в ближайшую кофейню, хоть это и не очень подобало благородным девицам. Покупали пирожных, шутили, смеялись. Было весело и радостно. А потом барышни, торопясь опоздать, возвращались по своим домам.

Ниночке спешить некуда было, она медленно брела по родному для неё теперь городу, любясь его широкими прямыми улицами, красивыми классическими домами. Она с деловым видом, чтобы не привлекать к себе внимания, проходила мимо театра, в котором не пропускала ни одного нового спектакля, оттуда сворачивала к Думе и шла вдоль парапета Приморского бульвара. Подолгу смотрела на уходящие вдаль корабли. Вокруг неё не было близких людей, таких как покойная мать или бабушка, и отцу она больше не

доверяла. Только на Рождество и Пасху она получала от бабушкиной подруги большую, перевязанную красной или розовой лентой коробку со сладостями и денежные переводы по почте с небольшими записочками наилучших пожеланий.

Жили они с Глашей очень скромно. Иногда Глаша бурчала что-то недовольно и невнятно относительно отца. Но однажды Ниночка не выдержала и призналась ей, что об отце она и без неё всё знает. И теперь Глаша может высказывать свои претензии открыто. Вот преданная Глаша и выдала всё, как на духу Всё, что знала сама и что так тщательно скрывали от Ниночки мать и бабушка.

Как жили не тужили вдовствующая помещица со своей единственной дочерью. Дом у них был и в Петербурге и в Москве, и так, ещё немножко, то там, то сям, по губерниям небольшие именьяца.

Бабушка твоя была хорошая женщина, тихим голосом говорила Глаша, все её очень любили, а меня подкинули в младенчестве летом на порог подмосковной дачи. Помещица не стала дитя в приют сдавать, а оставила у себя, заботилась, как о собственной дочери. И учителей нанимала, и воспитателей. Маленькая Глаша хвостиком крутилась вокруг своей благодетельницы.

Прасковья Петровна гордо представляла её не иначе как это моя «Глашенька воспитанница». Глаше было уже десять лет, как решено было ехать в Петербург. Пора было вывозить в свет распутившийся бутон – дочь Екатерину.

Глаша, тихо присев на корточки на балконе, расчёсывая Ниночке волосы продолжала: мать твоя в молодости хороша была, да её и болезнь не сильно попортила. В своей Тверской губернии она пользовалась успехом. Все соседи наперебой приглашали в свои имения погостить вдову с дочерью, дабы полюбоваться на красавицу. Но Прасковья Петровна считала местных помещиков с их сыновьями недостойной партией для своей дочери.

Катерина тоже любила меня и играла, как с живой куклой. Наряжала меня, приглашала ко мне детей на ёлку. Мне никогда не давали понять, что я живу здесь просто так, из жалости, а наоборот, как самая главная, потому что маленькая. Вот и двинула помещица в Петербург, и меня с собой прихватили.

Зима в тот год была снежной, морозной, какой-то праздничной. Я маленькая была, так счастлива: всё сверкало, столько экипажей, столько гостей в доме. Шум, суета, бесконечные балы, маскарады, театры, праздничный калейдоскоп какой-то.

За Прасковью Петровну тоже начали свататься – вот смеху-то было. Она всё возмущалась, ну чего удумали. В этой столице все как с ума посходили: одни сплетни и сплошной разврат.

Да за всей этой суетой не заметила твоя бабка, что дочь её влюбилась. Пока Прасковья перебирала подходящих женихов для дочери, наша Катенька сделала уже свой выбор.

Ей бы догадаться, почему дочь безропотно разрешила увезти себя из Петербурга, так нет же, никому и в голову не пришло, что у неё закрутился роман с морским офицером. На одном из балов Катенька и встретила свою любовь – твоего папашу незабвенного. Он действительно был хорош собой, ничего не скажешь: статный, молодой, а как шла ему эта проклятая морская форма с этим кортиком. Так и бряцал им, так и бряцал.

Женщины глаз не могли отвести от этого красавца. Вот и забилося у твоей матушки сердечко в истерике. Не могла бедная Катенька ни о чём больше думать, все окна в доме были исцарапаны его именем: Андрей, Андрей!

– Как это? – не выдержала Ниночка.

– Как, как. Зимой окна замерзают, вот она и царапала по инею его имя.

Жених оказался, хоть и дворянского рода, да гол, как сокол. Только скудное жалованье, которого едва хватало, чтобы редко появляться на людях.

Как Прасковья Петровна не оттягивала этот брак, что только ни делала, ничего у неё не вышло. Даже в Париж увезла нас летом и дальше хотела попутешествовать, чтобы отвлечь доченьку Куда там. Бабка симулировала плохое самочувствие, торчали в Италии до самой зимы. Всё напрасно. Молодой офицер был упрям и настойчив.

Твоя бабка через подружку свою пыталась дать ему отступного. Ни в какую. Сумасшедшая страсть, хуже всякой

болячки. Обвенчались через год в Петербурге, там молодые и остались жить. Дом в столице бабка твоя подарила молодым в качестве приданого, да ещё содержание.

Молодые в Питере зажили на широкую ногу. Через полгода Прасковья Петровна категорически отказалась оплачивать счета зятя. Так тот ничего лучшего не придумал, как уговорил жену заложить дом под ссуду. Опять какое-то время пожили на широкую ногу да дом забрали за долги. Вот Прасковья и вынуждена была продать одно из имений и выкупить молодым в Питере квартиру в которой ты и родилась. Ты думаешь, это послужило для молодых уроком? Как бы не так. Сплошные развлечения, балы, пикники, морские прогулки, уразуметь молодых она была не в силах. От её назиданий молодые отмахивались, как от назойливой мухи.

Вот одна из прогулок для Катеньки закончилась печально. Она сильно простудилась, будучи беременной вторым ребёнком. Братик твой при родах умер, а Катенька так и не поправилась. Ещё больше любила твоего отца, совсем как ненормальная.

Сколько светил твоя бабка приглашала, профессоров, куда только не возила дочь лечиться, всё было напрасно. Такой диагноз – приговор при жизни. Да ты и сама всё уже видела и понимала. Петровна продавала одно имение за другим, всё, что у неё было. Вот и эту квартирку в Одессе она на твоё имя купила. А то бы и ты на лице осталась, да и я вместе с тобой. Ниночка, при мне, на коленях бабушка твоя просила,

умоляла зятя не бросать больную жену и внучку. Создавать хоть видимость семьи. Так вот, чтоб ты знала: выполнял он эти обязательства не бескорыстно. За всё твоя бабушка ему платила.

С меня она тоже клятву взяла, что я никогда тебя не брошу. Верой и правдой буду тебе служить. Меня она тоже любила как родную, всё горевала, что не может дать мне приданое.

Обе девушки молча сидели обнявшись на балконе, наблюдая зарождающееся утро, и каждая думала о своём.

Жизнь же дальше пошла своим чередом. Глаша действительно оказалась преданной семье душой. Она отказала сватовавшемуся к ней сыну бакалейщика. Но все эти годы она поддерживала с ним близкие отношения, ни перед кем их не афишируя. Даже когда он, по настоянию родителей, женился на другой, у них всё продолжалось, как и раньше. Более того, Глаша даже учила его детей и грамоте и музыке.

Так и жили одинокие, всеми забытые Ниночка с преданной Глашей. Отношения у них сложились родственные, как у старшей и младшей сестры. Всегда и везде только вдвоём.

Владимир сидел, не шелохнувшись на продавленном диване, обхватив голову двумя руками. Старуха, подруга бабушки, молча продолжала в такт своему рассказу кивать головой: вот такая была моя Ниночка, тихая, терпеливая и бесконечно одинокая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.